

**Александр
САВЧЕНКО**

**БЛИЖНЕЙ ТРОПОЙ
К СЕРДЦУ**

ПОВЕСТЬ



«Зилек» ссадил меня на обочину дороги и, встряхнув под собой редкую серую пыль, двинулся дальше по малонаезженному большаку.

Стояла благодатная пора, когда всё живое пребывает в наслаждении середины лета. В июльском зное деревья глубокими корнями вытягивали соки земли, гнали их через себя до самого вершинного прутика. Этим соком кормился и поился весь лес, а излишки влаги уходили в широкий солнечный воздух, отчего волнами растекалась терпкая духота древостоя, перемешанная с ароматом трав, срезанных на примыкающих к дороге полянах.

Неделю назад я пересёк границу родной советской страны, вернувшись из дальней и длительной командировки. Без малого три года мечтал о том дне, когда полетит с моих ног дешёвая кожаная обувка, и я с восторгом окунусь в постель из духмяных трав. Тридцать три месяца – почти тысячу дней я носил на макушке своей головы цепкое экваториальное солнце. Тропические джунгли в этой стране буйствовали где-то далеко на юге. А здесь почти никогда не бывало дождей, и одногорбые верблюды с рождения не

* Журнальный вариант.

13

знали, что такое тень. На сотни километров протянулась пустыня, состоящая из мельчайшей песчаной пыли. На этом ландшафте, исковерканном солнечным смерчем, казалось, не могло быть никакой жизни. Тоскливое до боли пространство, не предназначенное Богом для человека... И мне среди душных ночей всё чаще виделся подпирающий облака лес с муравейными кучами у корявых комлей берёз; ушей касался нервный шелест осинового листы, а в горле саднило от смолисто-сырого хвойного запаха, какой в концентрированном виде опускается вечерами на берега водоёмов.

...Тропинка пролегла по увалу, витиевато пронизывая осиновый подлесок. В стороне бухли молодые калиновые кусты, успевшие сбросить с себя молочную пену соцветий, изредка из ниоткуда тянулся черёмушник, увитый изумрудными ожерельями хмеля. Стволы деревьев внизу заполонила густая папоротниковая поросль, из неё широкими ладонями поднимались листья переспелых пучек. За свежей валежиной лежит другое дерево, видать, поваленное грозой прошлым летом. И возле них отдельными семьями растут молодые саранки, обсыпанные сиреневыми завитками.

САВЧЕНКО Александр Карпович родился в 1937 году в рабочем посёлке Любино Омской области. Работал в Мариинске и Кемерово, три года занимался поиском подземных вод в пустыне Гоби (Монголия). Печатался в альманахах: «Литературный Омск», «Кузнецкая крепость», «Притяжение», в журналах: «Юность», «Крокодил», «Шмель», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Метаморфозы» (Беларусь), «Страна Озарение», в «Литературной газете», участвовал в коллективных сборниках, изданных в Москве, Волгограде, Брянске, Орле, Кемерово, Омске, Новокузнецке. Автор книг «Сов падение», «В плену времен», романа «Двое из-за бугра». Лауреат премии журнала «Огни Кузбасса» за 2012 и 2022 г. Член Союза писателей России. Живёт в Новокузнецке.

Я, конечно, мог бы проехать ещё с километр – дальше лежал свороток, по которому до крайних домов было рукой подать. Но машина остановилась именно там, где я попросил водителя.

Мне с детства была знакома эта тропинка, десятки раз ходил по ней. Впервые мне показал её отец. Был, помню, апрель, конец затяжной зимы второго послевоенного года. Мама с февраля лежала в районной больнице. Рано утром прибежала почтовичка Полина Чикалова, запалистым стуком разбудила нас, и через двойные стёкла мы услышали, что звонили из райцентра: матери, мол, совсем плохо, срочно вызывают отца.

Тот молча помог мне собраться, сунул в кирзовую хозяйственную сумку краюшку хлеба, две луковицы и несколько смёрзшихся срезов свиного сала. С этой поклажей мы зашагали из дому. Дорога к большаку была разбита «дэтэшкой» – единственным в округе гусеничным трактором, сохранившимся до конца войны. По причине полного бездорожья редкие подводы старались пробираться стороной – там, где ещё не отошла от зимы верхняя прослойка земли.

– Пошли напрямик, тропой, – выдохнул в утренний воздух отец. – Выйдет короче на полчаса. Может, успеем... Кто-нибудь подберёт...

Но никакого попутного транспорта – ни машины, ни телеги – в нашу сторону на дороге не оказалось. Так мы и шли, не говоря друг другу ни слова, все двадцать с лишним километров. Дважды останавливались, жевали всухомятку ржаной хлеб с прочесоченными ломтиками сала. Я видел, как в отцовских глазах дрожали слезины, которых я прежде никогда не видел. Он морщился, болезненно отводил от меня взгляд и молчал. И я тоже не находил слов, поскольку не знал, что теперь стало с мамой. Но через случайно пойманные взгляды отца понимал: ничего хорошего у нас больше не будет. Мне остро передалась в те мгновенья наша общая семейная безысходность...

Так вышло, что вскоре не стало и его, я осиротел и перешёл на жительство к родному брату отца, Степану Алексеевичу.

Дядя Степан конюшил в колхозе, жил с тёткой Анной небогато, но и не бедствовал. По его двору зимой и летом толкалась скотина: корова с телком да три-четыре овцы, тут же под ногами с весны до первого снега путалось до двух десятков кур. Хорошо ли плохо, но жить было можно.

Дядины дети, мои двоюродные братья Егор и Иван были намного старше меня. Один служил на сверхрочной в армии, другой где-то работал учителем. А дочь Настя вышла замуж за одного Васюху Коновалова, инвалида с войны, и переселилась к нему в дом. Из младшего поколения родни у дяди Степана и тетки Анны жил я один.

Много раз ходил я этой малозаметной тропинкой: и за грибами, и на покос, возвращался из райцентра на каникулы. А потом уже взрослым приезжал сюда всей своей семьей. Высаживались мы около заветного места и шли этим же направлением. Попутно я рассказывал, как угодил здесь в сухой корень, сбил босую ногу и отвалился из-за такого пустяка в кровати больше месяца. Как наткнулся тут на ежонка: колючки глаже, чем волос на голове. А в другой раз, когда повстречался на пути сохатый, было совсем не до умиления. На всю жизнь врезалось в память, как крутанул лось могучей шеей, ломая рогами ветки. Видно, встревожился внезапным вторжением человеческой твари в свои владения. Блеснул ярим огнём глаз и грузно ступил в мою сторону, заставив труханувшего пацанёнка дать деру. Тогда я побежал назад по этой же спасительной тропинке, сшибая на ходу засохшие от времени сучья...

Я не знал и никогда не узнаю, кто первым проложил этот мало кому известный в округе лесной путь. Может быть, мой отец, а может, и дед. Ведь здесь, на этой земле, прошло и их детство. И здесь матушка-земля приняла моих дорогих предков... Это вот я рано ушел бродить по свету и не знаю, где останутся мои следы.

...Тропинка к селу выходила недалеко от нашего кладбища. Тихое и печальное место... Словно прикасаясь к иному, но реальному миру, я всегда приостанавливался здесь, затаив дыхание. В детстве я не знал никого из тех, чьи имена были нацарапаны или вырезаны на некрашенных деревянных крестах. Памятников и оградок вокруг них по тогдашнему обычаю не было.

С годами кладбище разрослось, вышло из-под белоствольной рощи и как бы немного отдалилось от деревни. Появились сначала дощатые, потом железные памятники. Я стал обнаруживать на них знакомые имена и фамилии. Об упокоенных односельчанах напоминали привёрнутые к дереву или металлу фотографии – чаще всего овалы, покрытые жаропрочной эмалью.

Мать с отцом были схоронены на стыке старого и нового кладбищ. Так я делил своё прошлое: то, что было до меня, и то, что стало при мне.

Высокая берёзовая роща иссыхала на глазах. Среди редких ветвей темнели потрёпанные шапки сорочьих и вороньих гнездовых – туда давно не залетали их хозяева. Кресты на старой части кладбища стояли наперечёт, намного больше там было просто затянутых травой бугорков и валиков. Вдоль жердяной кладбищенской ограды когда-то прокопали канаву, теперь она доверху заросла сорняком...

Я прислонил к столбику ограды дорожные вещи – небольшой кожаный чемодан и спортивную сумку. Направился в сторону, где покоились мои родители. Подошёл, постоял минуту, отметил своё присутствие полущёпотом «царствие вам небесное!» и повернул назад. Я знал, что приду сюда завтра и сполна совершу своё сыновье дело, вдоволь посижу подле дорогих могил. Машинально ухватился за осотовый стебель – хотел вырвать паразита с корневищем, да не тут-то было: только скользко обжёт ладонь игольчатой щетиной.

Тут я заметил, как метрах в пятидесяти от меня торопливо прошла незнакомая женщина. Со спины я не смог даже определить её возраста. Она же, поддерживая на плече черенок штыковки, скорым шагом удалялась от меня в направлении деревни.

Проводив взглядом незнакомку, стал выбираться из тесного лабиринта оградок. Так вышло, что через какое-то время я оказался на том самом месте, где до меня находилась удаляющаяся прочь незнакомка. Огляделся. Немного в стороне от других могил стояла остроконечная металлическая тумба со звёздочкой наверху. У могилы не было никакого ограждения, к памятнику подступала свежая насыпь, которую, видать, только что обривняли по краям, и теперь под солнцем земельный срез покрывался белёсой поволокой. Я подошел ближе. На холмике у основания памятника стояла поллитровая банка с водой и опущенными в неё ромашками. Выше приварена металлическая рамка, куда ещё не успели вставить фотокарточку. Под рамкой привинчена пластинка из нержавеющей стали с фамилией и двумя главными датами. В длинное тире между цифрами уместилась короткая жизнь молодого человека. Меня покорила деталь: здесь покоился ровесник моего старшего сына. На мгновение во мне плесканулось острое

чувство неизбежной утраты чего-то самого дорогого, пробилась инстинктивная боязнь за судьбу самых близких людей...

Уходя отсюда, я понял, что памятник поставлен совсем недавно, не более месяца назад. Смахнул с лица пот, поднял с травы оставленные вещи и зашагал по просёлочной слегка пыльной дороге, огибающей изгороди крайних огородов. Вдали передо мной маячила фигура всё той же женщины с лопатой. Перед тем, как я собрался свернуть в свой переулок, женщина в последний раз мелькнула около чьего-то плетня и исчезла.

Дядю Степана застал дома в одиночестве. Точной даты своего прибытия я специально не сообщал, написал только, что в конце июля: вдруг вышла бы задержка в дороге, у стариков тогда были бы лишние переживания и хлопоты. Мы обнялись, расцеловались. У дяди от неожиданной радости намокли складки у глаз.

– Эх, ёк-маёк! А тётка-то, Сань, с утра подавалась по грибы... Заждались все. Я, как знал, остался, даже на пасеку не пошёл. Сердце предчувствовало, – потёр он ладонью одряхлевшую грудь. – Оно у меня, Сань, наперёд смотрит... Ну, дак как, ёк-маёк?

Дядя Степан суетился рядом, разглядывая меня, как долгожданную диковинку. Кисть его правой руки заметно вздрагивала. Он подхватил её левой, прижал локтем к подреберью. Значит, у дяди не всё хорошо со здоровьем...

– Ну, ну... Африкан! Истощал там у их, у негров-то. А так ничего! Хорош! Наша порода... А што седина пошла – пёс с ней. Это дело мужицкое, наживное. У меня белый волос пошёл, посчитай, с тридцати годков...

В дяде мне виделся уже глубокий старик... Поживу я здесь, пообвыкнусь, и сотрётся первое впечатление, окружающее будет казаться таким же, как раньше, – нисколько не изменённым прошедшими годами. Но сейчас, глядя на дядю Степана, я видел, что он давно перешагнул тот рубеж, когда человека, сколько б он ни хорохорился, начинает одолевать разрушительная старость. Вот уже не слушается одна рука...

Во мне ожили воспоминания о детстве, о родительском доме, который давным-давно покоился, врос одним углом в землю, но и поныне стоит на той стороне улицы. От нахлынувших чувств перехватило горло. А дядя Степан не давал выдохнуть ни слова. Как заведённый меха-

низм, он будто старался сразу выговорить все семейные новости и личные соображения по каждой из них. Рассказал, что по весне навевалась старшая внучка Ольга, дочь сына Егора. Пожила меньше недели, нюхнула деревенской тоски и укатила к себе в пригородный откормсовхоз. Обстановка, мол, деда, у вас сиротливая: ни кавалера стоящего, ни дискотеки, только одно дрыганье под баян... Потом было доложено, что тётка Анна свалилась по оплошке в погреб, да, слава Богу, удачно – не только ничего у себя не надломила, а даже как следует не оцарапалась. Зато чуть не заболела с большого перепугу. Да что с неё, мол, взять, она во все веки такая...

– Вываливается счастье к людям, – заключил мой гостеприимный хозяин. – Но уж больно редко!

Наконец, я понял, что дядю Степана мне сегодня не переждать.

– Сполоснуться бы с дороги... – напомнил я о себе, вклинившись в стариковский монолог. – Помывальник наш всё так же во дворе?

– Об чём, Саня, речь? Об чём разговоры! Щас я тебя отведу в душ. Там за сарайкой Васюха смастачил нам одну штуковину... Ты в своих городах сроду такого не увидишь. Ступишь на дощечку – и потекла божья роса. Я его спрашиваю: ёк-маёк, где такого чуда нагледелся? Ведь с самой войны человек не вылез из деревни. Может, у немца где подглядел? А он мне, значит: журналы надо чаще, папаша, полистывать. Ах ты, Господи! Разив мне теперь до журналов, Сань, коли девятый десяток разменял... Про журналы талдычит, да ещё на полном серьёзе. Во даёт! Ты ж сначала головой подумай, а потом советы давай!

Я видел на лице старика беспредельную искреннюю радость, вызванную и моим появлением, и тем, что у него за сарайкой работает душ на уровне мировых стандартов. И мне захотелось прямо сейчас, сию же минуту сделать ему приятное в ответ. Вытащил из сумки свёрток, обернутый в целлофан:

– Вам, дядя Степан! На память об африканском континенте!

– Ково ты тут придумал? Надо ли, Сань?

Я помог извлечь из целлофана содержимое свёртка – бутылку французского рома и курительную трубку, вырезанную из эбенового дерева.

– Сань! – умилился старик. – Да я же теперь совсем не курю... Тетка Анна тому первый свиде-

тель. Дело у нас такое вышло, ёк-маёк. Понимаешь, на прынцип пошло! Да про это потом... – отмахнулся он здоровой рукой. – А вот твою мадеру-холеру опосля опробуем. Гости в жисть не откажутся. Ты, наверно, не слышал: мне доктора запретили эту заразу даже из напёрстка попробовать...

Дядя Степан с сожалением посмотрел на трубку, отполированную до зеркального блеска и светящуюся откуда-то изнутри. Посмотрел, раздумывая: брать или не брать. Потом снова махнул рукой – мол, всё одно помирать! И вместе с ромом принял от меня подарок целиком. Пузастую с красивыми наклейками бутылку поставил на серединку комода, а трубку из чёрного дерева сунул в карман висевшего на гвозде домашнего пиджака.

Ближе к вечеру вернулась из леса тётка Анна. Расцеловались и с ней.

– Насколько ж теперь приехал, Сашенька? – вытирая платком разрезы лазоревых глаз, спросила тетка. – А то все разы набегом да наскоком.

– Сейчас надолго. Может, на месяц. А может, и подольше. Вам помогу с сеном, порыбачу, грибочков пособираю...

– Разив на это дело месяца хватит? – тётка Анна была в своём репертуаре. Она развела короткими ручками и помотала головой: – Месяца не хватит, хоть убей! Как перед крестом говорю: поживи подоле!

– Ну вот, пошла собирать деревня... У него ж своя голова, в ней и прописано, сколь можно, а сколь нельзя. Всё ж таки на казенной службе, а не при твоей юбке! – осерчал дядя Степан. – Чё ты, как старая балалайка: те-те-те... Прости, Господи! Поди-ка лучше народ зови, а не тетейкой, ёк-маёк!

Здесь я должен на минутку прерваться и рассказать о том, почему жену своего дяди называю не иначе как тёткой. Начало эта история получила ещё до войны, до моего рождения. Когда дядя Степан женился на Ане Колосовой и привел её к себе в дом, у него, кроме моего отца, было ещё два брата, оба старшие, и у них уже были свои дети, всего семь ртов. Росли эти мои двоюродные братья и сёстры вольно, особо шустрили те, которым было лет по семь-десять. Новую тетю Аню из-за её молодости пацаны не очень жаловали, а старшие вообще обращались с ней, как с ровней. И вот однажды Аня собрала в ограде всю кучу сорванцов и со строгостью объявила:

– С этого часа я для вас никакая не Аня и не подружка вам, я – ваша тётка. Будет для вас только одно имя: тётка Анна. Иначе...

Мои юные сродственнички поняли, что может последовать за словом «иначе». И сначала полусхотят, а потом и на полном серьёзе стали величать её «теткой Анной». И когда я в детстве осознал себя человеком, для меня уже не было никаких проблем: только дядя Степан и тётка Анна... Так её звали в моей семье, так стали звать соседи, а потом с возрастом и все деревенские...

Тётка Анна, сладко жмурясь, поспешила к погребу, который недавно так удачно её принял. По дороге остановилась и доложила, с ехидцей поглядывая на мужа:

– А народ, кому надо, оповещён и ко времени явится. Мне вон ещё на пасеке Тимоха Погорелов сказывал, ково к нам сёдни Бог привел... Лучше бы ты, Степа, раскладной стол из кладовки достал, а не строжилась понапрасну!

Дядя Степан придвинулся ко мне, заговорчески шепнул:

– Вон она какая твоя тетка, Сань! Я и впрямь её зазря ругаю... А может, не зазря, ёк-маёк. Принцип тут вышел у нас с ней, беда чистая, – он вытащил из кармана пиджака подаренную мной трубку, повертел её сначала около глаз, потом провёл возле носа и снова ткнул на своё место.

Дядю Степана и его жену я знал с тех пор, когда они уже были зрелыми людьми. Оба казались с виду неуживчивыми, привередливыми. Но это только со стороны и для постороннего глаза. Для всех знающих их ближе оба были воплощением доброты и сердечной отзывчивости. Мне не суждено было взять столько душевного тепла от своих родителей, сколько я получил его от дяди и тётки. Такая, видно, судьба...

К тому времени, когда тётка вернулась из погреба с двумя кринками сметаны, я распаковал подарок и для неё. Этот подарок тоже имел давнюю предысторию. Женщине нужны были специальные очки для дома и для улицы. Нигде – ни в районе, ни даже в области – таких ей сделать не могли. Сестра Настя вместе с письмом прислала мне рецепт на изготовление очков для матери с разными диоптриями и с учетом имевшегося у неё астигматизма. Две пары немецких очков-хамелеонов я сейчас тётке Анне и привез. Подал ей прямо в её короткие ручки, заодно не забыл поцеловать в щёку.

– Чё я сквозь их увижу? – разочарованно хмыкнула тетка Анна. – Это же очки для слепых, Сань, а я-то, дай Бог, еще все вижу...

Тут не на шутку испугался я – вдруг подарок пойдёт коню под хвост... Стал рассказывать, что под воздействием света линзы очков начинают менять окраску для того, чтобы глаза в течение всего светового дня чувствовали себя комфортно. А видно через такое стекло даже лучше, чем через простое оконное. Тётка Анна всё глубже поджимала свои сухонькие губки и, наконец, остановилась, коснувшись кисти моей руки:

– Коли в том правда, не сниму их с себя ни за какие деньги! Пусть старухе позавидуют... Такой оправы я ни у кого ещё не видала. Даже-ть в телевизоре. Брежнев, поминается, как-то стоял в них на мавзолее. Я их, Сашенька, ноничь перед народом одену...

– И спать в их ложись, – беззлобно поддел дядя Степан.

Как только солнце склонилось к изголовью дальней тайги и ослаб дневной зной, во двор к дяде Степану потянулась наша родня. Жили в Смирновке не только дочь моих вторых родителей Настя и её муж Василий. Было ещё немало мужиков и женщин, к которым вели ветки родства по отцовской стороне и по линии той же тётки Анны.

Вот, к примеру, сестра Василия – Стеша. Мне, получается, сватья. Учились мы когда-то в одной школе, она двумя классами младше. После, когда я приезжал на каникулы студентом, провожал Стешу из клуба. Даже пытался поцеловать, но она оказала форменное сопротивление, начиталась где-то в романах: разве можно без любви?! На том факте наш флирт и распался. Но далёкие топтания на скрипучем снегу остались, видно, не только в моей памяти.

Сегодня Стеша явилась первой, да не одна, а с пацанёнком лет трёх-четырёх.

– А мы лес нонче пилили, – вглядывалась в меня Стеша, взметнув ровные дужки бровей. – Вдруг пало на ум: Саша должен пожаловать... Упросила своего Григория: вези домой, старый обабок...

Вот так каждый раз, когда я появлялся здесь, одной из первых меня встречала Стеша. Она не лезла с поцелуями и рукопожатиями, даже больше того, никогда не здоровалась, как все, а начинала разговор сразу с известной только ей середины, словно о главном с ней было давным-

давно обговорено... Неужели так глубоко запал женщине в душу тот давний скрипучий снег?

– Ишь ты! Орёл-то у тебя какой, Степанида! – показал я на голенастого мальчонку с подгорелыми от солнца ушами. – Не подумать, что бабушкой стала...

– А ты и не думай, Сашок. Соседский он, Нюрки Курковой внучонок, помнишь Курковых? Её отец кадки всю жизнь клепал... Вот шла к вам, Нюрка с мужиком на избу дерево лысят. А этот бедолажка ко мне прильнул, ревёт лихоматом. Пришлось взять с собой. Он у них маленько не совсем того, пусть со мной погуляет... Баба Аня ему калачик да хворосту дала. Вот и вся радость.

Мне увиделась глубокая печаль в ложбинах Стешиных глаз, и я подумал, что она, обращаясь ко мне, выдохнула совсем другие слова: «Посмотрю на тебя – и вся радость!»

Подошла сестра Настя, за ней следовал муж Василий, перебрасывая грузное тело со здоровой ноги на трость. Настя прижалась ко мне изгорелым лицом, красным и горячим, как после бани, передавая аромат сельского человека; точно таким же был когда-то вкус материнских губ – всё в одном: и соль, и сладость, и привкус только что испечённого хлеба.

Подходили другие родственники – кто в одиночку, кто попарно, а кто и целыми семьями. Народу набралось на добрую свадьбу, человек за тридцать, не меньше. Как бы успокаивая меня, тётка Анна блеснула стёклами-хамелеонами:

– Ты не бойсь, Сашенька, угощенья на всех хватит, не с копейки живем. Мундерную картошку да аржаной хлеб давно не ели, и Петровский пост позади...

Василий, услышав слова тещи, поддакнул:

– Верно, мамаша. Живем без красной икры, но в семьях кой-какой достаток имеется. Жизнь стала крутой: или мы её, или она нас... Эпоха!

Пелагея, какая-то родственница по Василию, подала реплику сдавленным голосом, будто не до конца проглотила сухую карамельку:

– Нам ить много не надо: сахарку б к чаю, но чтоб обязательно без войны!

И потом деловито продолжила:

– Как там, Шура, в столицах нащёт военных приготовлений? Неужто инхья возьмёт? Как сам думаешь, родственничек?

Дядя Степан суетился в углу двора, приказывая достать из-под навеса строганные доски для

сидушек. Под его же началом мужики сварганили застолье: поставили друг к дружке три стола, обнесли их несколькими табуретками, а поверх них разложили жёлто-розовые плахи – не меньше, чем сороковки. Этим кедровым плахам было, пожалуй, более пятнадцати лет. Как-то дядя Степан занемог и проговорился: мол, на смерть себе дерево сострогал... Да, видно, жизнь оказалась крепче дядиных сомнений в себе.

Сели за общий стол, занявший место во дворе от крыльца почти до самой калитки. Дядя откашлялся, коснулся рта загрубелым кулаком. Начал говорить:

– Вот он и вернулся...

И вдруг, видно, занудело у него в груди, продолжить не смог. Кивнул зятю Василию:

– Скажи, Вась... Чё-то во мне сёдни ни чиху ни пыху.

Василий тоже скашлянул, прогоняя волнение. Как сидел, так и остался сидеть – без чужой помощи ему бы с места не встать в этой тесноте... Помолчал. Потом, вспомнив книжные слова, завернул их чуть не белым стихом. И, подавшись грудью вперед, кончил совсем попросту:

– Чё языком ватлать? Давайте-ка, мужики, выпьем за Санюху, за твой, Сань, счастливый приезд! И точка!

Под звон-перезвон дешёвого стекла все потянулись ко мне – стопками, рюмками, стаканами. Потом с удовольствием стали закусывать. Как-никак каждый пришёл на эту встречу с тяжёлой работы.

Сестра Настя прижалась могучей грудью к плечу Василия, деревянной ложкой черпала окрошку и попеременно подносила то к своему рту, то к губам мужа.

– Квас-то чик в чик, мам! А думали, не уядрётся.

– Квасишко ноне с медком да с хреном, под самый вкус, – размахивала ручками тётка Анна. – И большой сласти нет, и запашист, и в нос не бьёт...

Румянец залил её одутловатое лицо, капельки пота выступили на кончике приплюснутого носа.

Молча ел жареные грибы, густо удобренные сметаной, Матвей Пшеничников, деревенский кузнец и первый в селе гармонист. Сегодня он обновлял байковую рубашку в клеточку – мой гостинец с прошлого приезда. Матвей ел степенно. На его корявой физиономии выделялся нос, похожий на рассекатель воздуха, – горбатый, крас-

ный. Ударь по нему кремнём – вспыхнут выбитые искры. На крыльях носа фиолетовые прожилки – это от горячей работы в кузне. Матвей старше меня всего на семь лет, а смотрится совсем зрелым мужчиной. Война оборвала его начальное образование, но не отобрала физической силы и тяги к музыке. Казалось, только и знал он два дела: махать у наковальни молотом да терзать любимую гармошку. Жил кузнец бобылём. Два раза сходил с местными вдовами, да не сладилась у него семейная жизнь. Чем-то, меж собой судачили бабы, он их не устраивал. Или вроде они его. Не разберёшься... Но по-человечески, по-соседски все кузнеца уважали. Те же бабы порой жалели его в открытую. И некоторые с добрым чувством несли ему домой или на работу то пару пирожков с ревенем, то свежезаквашенной капусты с яблочком, то горку яиц из-под несущки. А то вдруг сами задерживались у него до полуночной темени или даже до утра, неслись потом огородами в самую рань к себе на ферму... Но все равно жил Матвей сам по себе, вроде ни до кого не имея никакого касательства. Что надо сковать из железа, сыграть ли когда – пожалуйста! Он никому ни в чём не отказывал, и на все гулянки был зван в первую очередь. Пил Матвей без усердия и жадности, скорее всего, для аппетита, зато любил за столом посидеть долго и вдумчиво – может, это было у него от природы, а может, шло от неровной бобыльской жизни, плохо оно, когда в доме нет никакой хозяйки, а без женщины сильно наскучивает любая мужицкая доля...

Тётка Татьяна, младшая сестра Анны, такая же курносая, с широким рябым лицом. Говорунья и песенница, пышногрудая женщина – это своё природное достоинство несла она по жизни открыто, без скупости, платья носила обязательно не только с вырезом, но и с вызовом, чтоб всегда и любому было видно её богатство. Вот и сейчас она сидела – будто позировала в промкомбинатовском ателье перед фотоаппаратом, поджимая розовые свои губки. Не пройдёт и полчаса, как первой выскочит тетка Татьяна из-за стола, подхватит короткими ручками самую компанейскую молодку и зачнёт частушку. Рядом с ней муж Алексей, цепкий мужичок до живого дела. Один к одному держит на своем огороде двадцать ульев, за лето качает полторы тонны меда. Денежный мужик Алексей, но скупущий-прескупущий – не приведи, Господи! Будет помирать, а на флакон лекарства для себя ни копейки не вытащит...

Да ещё примкнувший к нам в давние годы дед Михайло, да троюродный брательник Яша со своей супружницей Варей, да одинокая тётка Марфа, самая дальняя родственница, кому-то из наших то ли кума, то ли сватья. А ещё подростки племяши и племянницы – здесь почти вся моя деревенская родня, не считая тех, кто, как и я, укатил далеко в город и в другие красивые на земле места. Ну, по правде сказать, если не приму во внимание существование Витьки Прозорова, приходящегося двоюродным племянником Василию, – тот у нас за всех будет ещё долго осваивать подземную часть рудников в окрестностях Магадана...

Время брало своё. Застолье разгорячилось. Заулыбался Матвей Пшеничников, переложил подальше от края стола надкушенную котлету, потянулся рукой под лавку за своей поистертой гармошкой:

– Где она, лихоманка тебя поберет?

– Вот, вот! – тётка Анна прытко вывернула инструмент из-под кедровой плахи, которую всё-таки сумели прогнуть крепкие зады мужиков, сидевших подле Пшеничникова. – Ты, Матя, сиди, сиди. Вот доска кабы не сломилась...

– Ха! – оживился брательник Яша. – Я на ей, тётка Анна, любым трактором проеду – она в жисть не схрустнет. Раньше дерево было не то, что теперь. Нонче его жуки, завезенные из-за границы, пожрали... Одни дырки в дереве, как в швейцарском сыре.

У Яши высоко обритые виски и тонкие, оголённые, плотно прижатые к черепу уши – как у зайца при быстром беге. А зажим авторучки в нагрудном кармане пиджака из букле грязно-молочного цвета выдаёт представителя местной интеллигенции.

Матвей Пшеничников принял гармонь из рук тётки Анны, яро рванул меха. По ограде взвились, свиваясь в облако, дружные звуки хромки. Передо мной качнулось детство, выплыло оттуда на миг мамино лицо. Она, когда была здорова, в пляс ходила первой... Из маминой близкой родни в нашей деревне никого нет. Отец ездил свататься к ней вёрст за сорок. И там теперь из её родственников ни одного живого человека: кто-то не вернулся с войны, кто-то умер, другие, как я, разбрелись по белому свету. От маминого села, говорят, теперь одно пустое место осталось. А место бывших домов жителей обозначено только густым бурьяном...

Дед Редьков, кум по маминой линии, калякал с Василием.

– Ноне орешный год будет, Васюха. Примета такая есть...

– Какая она, к лешему, примета? – загладил редкие волосы Василий. – И так видать: шишка, Петрович, ядрёная налилась. Я позапрошлым днем с Тимохой Погореловым на пасеку ездил. В бинокль глянул – богоньки мои! Кедрач в небо увился, и шишка на нём с мой кулак! Только взять её надо по-людски.

– Мда-а, – подытожил разговор старик Редьков. – На моей большой памяти такого не бывало. К добру ли только это? Не знаешь, Василко?

– К добру, – ковырнул спичкой в зубах Василий. – Как в песне поется, Петрович. Можешь спать спокойно и видеть сны...

Василия пустые разговоры начали раздражать, но дед Редьков не унимался:

– А про мутацию-то, небось, книжки читал? Я думаю: всё связано с нею...

Василий снова погладил свои зачёсанные назад волосы. Они были почти зализаны ото лба к макушке, лежали на голове нежирными чёрными линиями – казалось, малюсенький тракторишко с плужиком сделал несколько загонов по голому косогору и затих на противоположном склоне, дожидаясь дальнейших распоряжений.

Наконец, дед Редьков, позабыв про Василия и про мутацию, уставился слезливым глазом на гармониста. Тоже, наверное, на ум навернулось времечко прокатившейся молодости...

Матвей Пшеничников, малость поозорничав, испробовал каждую пуговку ладов и басов, крикнул с хрипловатым надтягом:

– А ну-ка, Настя! Хлебай уху, поминай бабушку глуху!

И точно: сестра Анастасия выскочила боком от Василия на середину двора и, ударив тапочками о выжженную за день землю, всколыхнула затянувшийся за столом гомон:

*Я любила сердце тешить,
На дорогу выбежать.
У дороги лес дремучий –
Дорогого не видать.*

Выбежала к Насте Яшина жена Варвара. Взметнула вверх руки, словно от поверхности воды понеслась в глубину бездонного омота. Тряхнула головой, разбросав по лицу и шее тяжёлые пепельно-русые пряди волос. Замерла на мгновение – дождалась, когда Матвей закончит

проигрыш. И, толкнув легонько локтем в Настин бок, вывела высоким голосом:

*Мой милёночек уехал,
Только пыль на колесе...
Меня горькую оставил,
Как полынь на полосе.*

Матвей во второй раз прошёлся по мелодии частушки. Настасья с Варварой со вздёрнутыми руками ходили по образовавшемуся полукругу одна против другой, запаяя себя подхватками «Эх-ха! Эх-ха!»

– Ну, девки, чё задремали? – уцепила Настасья Стешу и потащила её за руку от стола.

Стеша, не отнекиваясь, чиркнула по земле каблуками туфель, на ходу поправила кончики собранных в пучок волос. Начала сразу, будто тут она и была:

*Где мы с миленьким встречались,
Там цветочки расцвели.
Где мы с милым расставались,
Мутны реки потекли.*

Подхватила снова Настасья:

*Снегу белого надуло
К огороду глубоко.
На свиданье мил не ходит –
Говорит, что далеко.*

Больше в этот раз на круг никто не вышел. Зато три певуны-плясуньи – Настасья, Варвара и Стеша – долго в такт хромке Матвея соперничали друг с дружкой, веселили народ частушками и прибаутками. Мужики частыми выкриками подначивали Матвея и женщин на кругу.

Солнце сошло за перевал. Но его рассеянный свет стоял ещё над домами и огородами. За оградой, одышисто вздыхая, протарахтел с пустыми флягами колесник «Беларусь». У середины села пиликнула своя гармошка. Хлопнула дверь калитки, закреплённая на пружине от отжившего век комбайна «Сталинец».

– Ты чего ж, родимая, ёк-маёк? – приветствовал ещё одну гостью дядя Степан. – В кои поры тебя ждатель?

Ко мне среди захмелевшего люда пробиралась тетя Феша, отцова и дядина двоюродная сестра с весёлыми глазками, маленькими, как огуречные семечки.

– Ждать-то меня чё? Не велика цаца! Ноне сено ставили. Мой вдрызг умаялся, щас как убитый спит... Я б давно прибежала, а там Деменчиха, будь она неладна.

Тётя Феша подсела ко мне. Прижалась морщинистой щекой к моей щеке, тихонько выговорила:

– Глянула на тебя слёту – вылитый папонька. А пригляделась – нет. Вроде как с мамкой больше поперемешалось.

Тётя Феша долго выпытывала у меня о здоровье, о семье, о работе «за бугром», короче, обо всём том, что в первую очередь интересует давно знакомых или близких людей. Она несколькими глотками опорожнила кружку погребного кваса. Видно было, что за день сильно умаялась, а главное, напотелась на жаре. Да и возраст не девичий – давно за шестьдесят.

– Ох, времечко... Катится, что яблоко под гору. Смотрю на тебя, миленький, и сердце корочкой покрывается. Давно ль ты с мамкой приходил к нам. Всё вместо «рэ» букву «э» говорил... Ну, да ничего. Зато теперь на люди крепко вышел. Помужал как! Да и головку морозом побило...

Дядя Степан молча смотрел в сторону Матвея Пшеничникова. Там, среди женщин, спорили, какую заводить песню: то ли «Подмосковные вечера», то ли «Вот кто-то с горочки спустился».

– Км, км... – молвил старик, итожа свои, ему только ведомые мысли. Потом неожиданно повернулся к тете Феше:

– Чё там у них, у Деменцовых-то? Опять самовар развели?

– Ой, чё было, чё было, Стёп! В кино такого не увидишь вовек. Навылась опять Деменчиха, да всё в причеты...

– Мда, – вымолвил дядя Степан, – тяжело будет Маруське...

– Ей чё! – встряла подвернувшаяся к слову тётка Анна. – Она своё возьмёт. И чужое прихватит. А скажи ей чё-нибудь по пути – она ж тебя выставит всяко... Не девка, а мельница.

Дядя Степан не ожидал таких теткинских слов, да ещё в моем присутствии. На лице старика проступило явное недовольство:

– Пошла языком ляскать, будто другого дела нет...

Тётка стерпела слова мужа, как переносят зубную боль вдали от цивилизации. Отошла от него, поджав узкие губки.

– Деменцовы – это кто такие? – спросил я, напрягая память. – Фамилия вроде знакомая...

Не тот Деменцов, что к нам председателем присылали?

– Он, он. Сам-то, дерьмо поганое, спился, заворовался. Давно о нём ни слуху, ни духу... А баба его, Деменчиха, осталась у нас. Парень у них был, Лёнька. Может, ты помнишь?

Нет, сына бывшего председателя я не знал. Зато вспомнил сегодняшнее посещение кладбища, и во мне неожиданно увязались воедино мысли о парне, что лежит под памятником без фотокарточки, и о Деменчихином сыне. Сквозь лёгкий хмель я уловил: вот, оказывается, кому оставлена в банке горсть ромашек – сыну бывшего председателя. Лёньке Деменцову.

– С сердцем был человек. Не в отца. Армию отслужил той весной, – вздохнул дядя Степан, – а вот тебе... Не повезло парню...

– На что они, Стёпа, сёдни нам? Гостю бы скорей до кровати, а мы его всякой всякотой потчуем... М-м? – и тётя Феша тихонько подалась ко мне, стараясь не вовлекать дядю Степана в начатый было разговор.

Я уловил, что в селе творится что-то неладное. Чувствовал, что здесь колышатся два противостоящих лагеря. И в этом дворе оказались люди с двух сторон... Однако никто не хотел посвящать меня в эту туманную ситуацию. Наверно, по негласному договору родня оберегала меня, отводила от разговора о судьбе неудачливой Деменчихи. Но как раз в эту минуту снова подала голос тётя Феша:

– Дело тут заварилось, не приведи Господи! Цельна деревня на две части разошлась из-за этих Деменцовых... После, Саня, узнаешь сам. А щас ешь на здоровье. На-ко тебе карасика в сметанке. Гляди только: рыбка хороша, да больно костлява.

Дядя Степан в медленной задумчивости обсасывал малосольный огурец.

– Завтра, как отоспишься, – повернулся он ко мне, не выпуская огурец изо рта, – валяйте с Василием на Чёрно озеро, порыбалите малость. Или вон со Стешкиными девками на деревенское «тырло» сходи. Там у них свой гармонист завелся, из самой области прислан, клипизитор. У нас теперь под его гимн коров доют. А с Василием можно и потом, а то он ноне ишь притомился сильно – цельный день да всё на одной ноге...

– А с Деменчихой у вас что за история? – как бы между прочим закинул я удочку дяде Степану.

– Ай, из-за Леньки всё! Он тут такое наворотил, ёк-маёк... А сам сгинул. С того дня Деменчи-

ха каких только фортелёв не навыкидывала! Но это тебе, Сань, совсем ни к чему...

Тётя Феша заметила повышенный интерес присутствующих к нашему разговору. Это ей показалось неправильным. Она придвинулась к моему уху и, перейдя на шепот, доложила:

– Сдурела совсем баба. Кто-то ей наляскал, будто Маруська на могилки в обед ходила, у Лёньки долго пробыла. Вот Деменчиха и взбеленилась. Маруську весь вечер искала по улице. Прибью, кричит, семя гадючье... Точно, не в порядке она. У Маруськи в доме была, выпялила там шары. Разнесу, орёт, ваше гнездовье впрах! В уме ли, скажите, человек? Такое на сноху плести...

– Да какая она сноха ей? – встряла из-за плеча тёти Фешы подошедшая к нам сестра Настя. – Они ж даже не расписаны...

– И чё? – вдруг обозлилась тетя Феша, повысив голос, чтоб слышали другие. – Ты-то сама с Васькой сколь годков блудила, пока до сельсовета не дошла. М-м? То-то ж!

– А это наше личное дело, у нас всё по хорошему было, – огрызнулась Настасья. – Мне пенять не за что. В крапиве ночей не проводила и в подоле никому не принесла.

– Настенька! – неожиданно ласково взяла тётя Феша ладошку племянницы. – Да не про тебя разговоры. Ни с чего ты в них влезла. Гостинок тут у нас – ему ли разбираться в нашем балагане?

Василий натужно привстал со своего места, цыкнул на жену:

– Опять бзык нашёл? Мало об этом разговоров дома? Ступай сюда!

Настя, снимая с себя волнение, легонько погладив своё плечо, направилась к мужу. Когда она села возле Василия, тот, как бы вняв перед ней, беззлобно проговорил:

– Ну, чё вы все? Сдурели? Управы на вас нет... Хоть бы кто из газеты приехал, разобрался. Нам тут самим с этим делом вовек не сладить...

Матвей Пшеничников показывал коронный номер. Он пересел на крыльцо, усталые вязаными половичками, вытянул вдоль уложенных досок босые ноги и, не жалея заветной хромки, давил из неё разудалую плясовую. Мужики, особенно те, кто постарше, курили, бабы судачили мелкими группками. Те, кто помоложе, – топтались около Матвея.

Тётя Феша перехватила мой улыбочивый взгляд:

– Чё? Такое в любовинку? Наскучило, поди, там, в песках-то?

Я обнял её за предплечье, ответил без увёртки:

– А то нет? Спросили бы на чужой земле: пойдёшь домой пешочком? Как пошёл бы! С радостью, без раздумий... В душе я каждый день сюда летал. То бредень в руку захочется взять, то семечек пощёлкать охота, да не жареных, а прямо с самого подсолнушка... То Юрку своего увидеть так захочу – и не обнять или прижать к себе, а, понимаешь, тётя Феша, просто соплю ему голой рукой вытереть. Вот теперь и подумай: скучал я там или нет...

И здесь, посреди таёжного сибирского села, в моей памяти выплыли отдельные эпизоды былой заграничной жизни. Я вспомнил недавнюю встречу нашей правительственной делегации в столичном аэропорту небольшого африканского государства.

...Солнце зависло над головой, источая жар, словно раскалённая сковорода. Я стоял на краю лётного поля. Невысокое бетонное ограждение с ажурной арабской вязью из алюминия. Через всю эту конструкцию легко было перешагнуть, там неподалеку, с другой стороны, стояли члены правительства встречающей страны... Самолет Ил-18 тяжело и уверенно вышел из далёкого марева, величественно коснулся посадочной полосы, с рёвом пронёсся мимо нас и, наконец, погасив скорость, подрулил почти вплотную к белому зданию аэровокзала.

Торжественно расколола окружающее пространство медь духового оркестра. Чернокожий человек в военной форме надсадно отбивал такты барабаном, ему вторили литавры... Я видел, как в эти мгновения колыхнулся воздух, редкий ветерок натянул на флагштоках два шёлковых полотнища: одно самое красивое и дорогое – наше, и другое, трёхцветное в три полосы – той страны, которой я отдал почти тысячу дней, как тысячу лет собственной жизни...

По трапу спустились люди в светлых костюмах. Я знал по фотографиям эти лица, знал их фамилии и то, что за ними стоит, – великая держава, моя Родина. Кто-то из присутствующих, снимая с носа тёмные очки, обронил фразу на английском:

– О, вот они какие, русские!

И у меня невольно вырвалось: «I also Russians!». Эти слова – «Я тоже русский!» – я

произнёс со своим дурацким акцентом, но меня все поняли и расступились – дипломаты, журналисты, иностранные специалисты, предлагая пройти вперёд. В моей груди начинался нервный озноб... В этот день под тропическим солнцем у меня разболелась голова, из носа хлынула кровь. Помогли немецкие медики Хайнер и Шмидт, соседи по общему коттеджу. К вечеру стало лучше, и ночью я уже чувствовал себя избавленным от всех физических страданий...

Тётя Феша поднялась, грубовато-нежно, как умела только она, притянула к себе мою осоловелую голову.

– Побежала я, племянничек. Игнатий мой дома влѣжку лежит. Скотину загнать некому. Забегай как-нибудь вечерком: посидим, почаёвничаем.

Засуетился дед Редьков. Засобиралась тетка Татьяна. Своего Яшеньку уцепила за рукав Варвара:

– Ну, чѣ ты! Поехали... Чѣ ты, как Афоня маляхольный...

Яша мотал кучерявым навильником волос, тянул по лицу улыбку и повторял с растягом:

– А я шибко знаю? А я, Варь, шибко знаю?..

Стемнело быстро. Женщины убрали со столов, носили и мыли посуду, складывали её в сених дядино дома.

– Ночи-то месячные не наступили ещё – нико-во не видать, – словно пожаловалась тётка Анна. – Люблю, когда месяц в лесу поляны залива-ет. Ровно другой мир какой. Помню, в девках-то...

– Ох, ёк-маёк! – съязвил дядя Степан. – Месячную ночь захотела. В девках про то не говорила, однако. Любила шастать, где потемней...

– Чѣ-то ты, Степ, к старости совсем бесстыжий стал, – со смущением укорила мужа тетка Анна. – Так недолго и матюгом сругаться...

Но я знал, что большой ссоры между ними всё равно не выйдет. Дядя с тёткой жили дружно, пусть и не всегда душа в душу. Зато не было случая, чтоб он когда-то выронил при ней грязное слово. Что правда, то правда: мужики в деревне матерились много и чаще всего без всякой причины. Только от дяди Степана никто не слышал никакого матюга. Тётка Анна гордилась этим перед деревенскими бабами, но понимала такое дядино положительное качество сугубо по-своему и относилась исключительно к своим личным заслугам.

Гости разошлись. Теперь из сеней сочился неяркий электрический свет. Тётка Анна поставила на крыльцо таз с водой из огородной бочки. Вода была ещё теплая.

– Давайте-ка, мужички, сполосните перед сном свои копытца. А то ноги всю ночь будут гудеть...

В голове моей толпилась вереница впечатлений от прожитого дня. Казалось, не один день я здесь, а целый год. Прошлые события выворачивались из памяти, словно тяжѣлые пласты, и тут же рассыпались.

– А если я в душ? Как считаете, дядя Степан?

– Сохрани тебя Господь! Ежели, Саня, впотьмах разберѣшься с механизмом, – иди и мойся, вот тебе махровое полотенце! – поспешно отозвалась хозяйка.

– С керосинкой там не с руки, а фонарик у меня с зимы не фурычит, – виновато буркнул дядя Степан, но по голосу я понял, что он одобрил моѣ намерение.

После душа мы сели втроѣм на крыльцо, в котором я знал каждый сучок, знал, где какой гвоздь забит. Тётка Анна убаюкивала нас словами:

– Дождей нет с неделю. Последний ладком промочил земельку, дня два лывы кругом стояли. Щас хоть и сушь пошла, а урожай успел всё ж таки в кучку сбиться. Теперь, если чевой-то одно и не уродится, – голодом сидеть не станем. Капусты не будет, зато кабачков полон огород...

За плетнѣм тренькал запоздалый кузнечик. На светлый дверной проем, перегороденный марлей, летели огромные мотыли. Но, ударившись в надёжную тёткину конструкцию, отваливали прочь... Наконец, разжал рот дядя Степан:

– Ещё один день прожит... Благодатный день подарил нам Боженька!

Дядя встал, молча постоял, попереминался с ноги на ногу, глядя на черноту далекого леса, вставшего в тѣмно-синее небо зубьями большой изогнутой пилы. Спросил:

– Чѣ телеграмму-то не отбил? Порядок надо соблюдать. Мы о тебе, может, больше твоего думаем... Да и народ планы свои имеет. Кто на сене, кто при скотине, строительство многие ведут... В нашем деревенском деле без порядка нельзя, Сань. Так от стариков заведено... Меня ить, как днѣм тебя увидел, оторопь взяла. Щас кое-как улеглось... Да ково я? Вон Яшка в дыми-

ну напился. От радости он, с неожиданности... Он ить её, проклятую, по большим праздникам только в рот берёт. Когда в гости собирается, маслица коровьего с ноготок сглотнёт, чтоб не спьянеть... Ноне сплеховал парень. Ну, ничё: переспит – человеком станет. А ты знай: он ради тебя такой ноне!

А у меня на уме вертелась застрявшая мысль, так и подмывало узнать, что ж такое произошло в селе, что расколело его надвое. И я не устоял перед соблазном. Спросил дядю Степана:

– У Деменцовых заварилось всерьёз? Странная история, разговоры полунамёками, шёпотом... Что, не обошлось без криминала?

– Лёнька всё завернул, не к ночи будь помянут. Такое завернул – оборони Бог!

На крыльцо, высвеченное электричеством, вышла тётка Анна. Метким взглядом определила, что меж нами начат серьёзный разговор.

– Кончайте, мужички! Утро вечера мудренее. Завтра досыта наговоритесь.

До самого сна я в этот вечер вновь и вновь увязывал воедино цепочку случайных фактов и их связь между собой... Сон пришёл, как всегда, незаметно. Надо полагать, по-деревенски крепкий, окутанный первородными запахами и звуками окружающего мира, так что каждая клеточка моего тела растворилась в них до той минуты, пока солнце не объявилось над косогором из-за сиреневого ельника. Я проснулся и вспомнил, что надо отправить телеграмму, поздравить с днём рождения своего институтского друга Юру Фадеева, перебравшегося зимой в Калугу.

Пошёл на почту нашей главной – единственной широкой и длинной в деревне улицей. На конвертах писем, которые я посылал сюда когда-то, так и писал: «улица Главная». А есть у неё настоящее название или нет, – точно не знаю до сих пор.

Село наше – старинное. Никто вам не скажет, куда уходят его корни, чья нога ступила первой на то место, где сейчас по-над болотистыми лесами расположились бревенчатые постройки, увитые плетнями и застолбленные жердяными оградами. Ходила притягательная легенда с романтическим сюжетом: якобы давным-давно в таёжную глухомань пробился лихой казак Смирной. Отстал он по какой-то причине от своего атамана да так больше и не свиделся с ратными друзьями. Может, уложили их в землю местные татары. А может, просто разошлись у

казаков таёжные тропы... Не один год скитался Смирной по гиблым местам. Наконец, где-то любовью или силой овладел он молодой татаркой и ушёл с ней в совсем безлюдные леса. Но недолго отшельничал казачок со своей красавицей. Примкнули к ним беглые люди, завязались постепенно и связи с местным населением. Стали лепиться друг к дружке сосновые и лиственничные срубы, вырос частокольный забор от дикого зверя и пакостного человека, зачернела весной невидаль для этих мест – пашня.

Прошли годы. Не стало на земле того удалого казака, а село, названное в его честь, продолжало расти. Дети, воспитанные матерью-татаркой, разлетелись по округе. Вот и остались теперь рядом со Смирновкой, как память о неведомых годах, две деревни со странными названиями Урюм и Барандатка.

В нашем селе и далеко вокруг церквей никогда не было, хотя, я знаю, встречались тут люди весьма набожные. Во многих домах в красном углу висели, а в сундуках среди белья лежали старинные кресты и иконы в золочёном окладе. Бога вспоминали нечасто, а мужики вообще больше под горячую руку, чтоб отвести со зла душу. Но в смертный час обращались к одному Господу-Богу, а не к членам Центрального Комитета или к руководителям правительства.

Может быть, от той татарки и пошёл в здешних местах свой род людей, темноглазых и чуточку скуластых... Я всегда так думаю, когда ловлю в зеркале своё отражение и смотрю на своих детей.

А может, всё было совсем не так. Просто людям не хочется, чтоб умерла красивая легенда о своём далёком прошлом. Его, к сожалению, ввиду нашей нерасторопности и лени мы можем никогда не узнать.

Почтой в Смирновке заведует моя бывшая одноклассница со странным для этих мест именем Сусанна. Сорок лет назад мы звали её просто Сюськой. Уже потом, когда отошло детство, стала она для всех Сусанной. Встречал я её редко, по разу в пять-семь лет. Но в какое б время я ни смотрел на неё, сначала во взрослой девушке, а теперь уже в полнотелой женщине, добравшейся до пика жизни, всегда виделась мне далёкая широкоглазая девчонка по имени Сюська. В шестнадцать лет окончила она восемь классов и ушла в торговое училище. Выучилась на товароведца, вернулась домой и немедля высо-

чила замуж: в деревне такой товар долго не залёживается.

С тех пор Сусанна безотрывно жила в Смирновке, но незаметно оторвалась от черновой крестьянской работы. Поставили её сразу же заведовать сельмагом, а в помощниках у неё стал ходить франтоватый муж, вечное девичье горе – Николай Лихачёв. Он у неё шёл и за экспедитора, и за завхоза, и за сторожа. До той поры ходил, пока не приехала куча ревизоров и не вскрыла крупную недостачу. Все понимали, что в сельмаге поработала рука Лихачёва. Сам он в горячах прихватил с собой красивую молодую попутчицу и сумел вовремя где-то раствориться. А выплачивать недостачу пришлось одной Сусанне. Начальство пожалело доверчивую работницу и дало ей новый фронт службы. Так оказалась она в нашем отделении связи, где в одном пятистенном доме разместилась почта и однокомнатная квартира начальницы, в подчинение которой попало две почтальонки...

Сусанна сидела за полукруглым окошечком, вырезанным в обычном оконном стекле-шестёрке. Большие чёрные глаза на усталом лице женщины не скрывали некой глубокой печали. И мне как ступившему на часть ведомственной территории надо было первым завязывать разговор непредвиденной встречи.

– Здравствуй, Сусанна!

– Здравствуй, здравствуй! Спасибо, что про настоящее имя не забыл. А то некоторые меня Сюсюшкой продолжают называть. И все пряники. Что сделаешь? Имя такое моё, шутник был папаня. Помнишь, как его самого звали?

– Помню, – раскрыл я рот, но произнести имя отца Сусанны наверняка б не смог.

– Ну, кто не помнит, скажу: Елпидифор. Выходит, я Сусанна Елпидифоровна.

– Ну, и что за беда?

– Не скажи, друг-залётыш! Папанины потешки – они не для наших мест. В городе б я подругому звалась, а тут меня каждая собака знает... Ну, да ладно! Не про то разговор. Скажи лучше: надолго ли в наши края? Слыхивала, в жарких странах был. Как там? Через меня все твои письма шли к Степану Лексеичу. – Помолчала и добавила: – Скоро пять лет будет, как на этом месте.

– Всё хорошо, Сусанна! Про негритосок лучше не спрашивай, мне отвечать надоело. Там, между прочим, одни арабки, причём каждая из них в парандже. Лиц ни у кого не видел, – соврал

я. – Наши деревенские вне конкуренции. Ты лучше про себя пару слов скажи...

Сусанна вышла из-за перегородки, оставив казённый стул, истёртый до белого дерева. По выражению лица женщины было видно, что эта встреча застала её врасплох. Заметное чувство тревоги сковывало Сусанну, и она никак не могла освободиться от него. На матовой коже проступили бледно-серые пятнышки. Глаза ещё больше потемнели.

– Какая жизнь? Так, середка на половинку...

Задумчиво-печальное лицо женщины не отдавало радостным светом, какой исходил от неё при былых встречах. Правда, еле заметная теплота стояла в уголках её глаз, но я мог ошибаться. Как порой под упаковкой не сразу угадывается очертание знакомой вещи. Было видно, что Сусанна правильно поняла мою неловкость и возникшее недоумение от её странно начатого разговора.

Она приблизилась ко мне, улыбнулась. Упаковочная оболочка на её лице чуточку разошлась:

– Заходи в моё жилище, рюмочку поднесу. Про жизнь былую и новую порассказываю...

– Спасибо! От вчерашней встречи вот тут стоит, – чиркнул я пальцем по выступу кадыка.

– Ну, смотри.

Сусанна приняла от меня текст телеграммы. Бегло сосчитала количество слов, заполнила и проштемпелевала квитанцию. Подавая её, бросила шутку:

– Так будет с каждым, кто войдёт в нашу связь!

Потом спросила:

– Гуляли, видать, по всем статьям? Матюха Пшеничников затемно играть кончил... Да... Как в прежние времена...

Я всматривался в её лицо, глядел на изгибы бровей, вспомнил прежний цвет волос, более густых и пушистых. Неужели я смог бы устоять там, в Африке, окажись она на таком же расстоянии от меня, как сейчас? А она сейчас говорила о своих делах: о том, что ночью приходится порой бежать к чёрту на кулички, и дорогой подкашиваются ноги – сама-то ведь уже знает, какую горькую весть несёт в чужой дом...

– Когда-то думала, что попала на спокойное место. А оказалось... Вроде и помощницы есть. Две почтальонки-письмоносицы на четыре деревни. Это ж, Сашок, несерьёзно...

– Слышал уже и про ваши драмы! – добавил я к её последнему слову. – Что тут с Деменчихой

случилось? Сплошь какие-то обрывки и недо-
молвки.

Лицо Сусанны внезапно переменилось.

– А ничё! Сучка лаает, ветер носит... Вот и вся
Деменчиха. На кой ляд она тебе сдалась?

– Права ты, – рассудил я вслух, – на кой? –
Постоял, рассматривая давно не белёные стены
крохотного казённого помещеньца. – Забегу
как-нибудь. Через неделю письмо должно быть
из дома. Не буду ждать твою гвардию.

Утром я направил свой путь к дому Васи-
лия – договариваться насчёт поездки к Черному
озеру.

– Только с ночевой, Сань! – заявил родствен-
ник. – Святое дело не терпит суеты. Сейчас ры-
балить – как раз золотое времечко. Эпоха!

Собрались мы к вечеру, часу в седьмом. Взя-
ли побольше еды, чтобы ни днём, ни ночью го-
лодной тоски не было. Я четко помнил поговорку
«Едешь на день – бери на неделю». В старый
жбанчик (Василий каждый раз напоминал, что
это его свадебный надел от родителей) налили
полведра квасу. Провизию я отнёс в багажник ав-
томобиля подозрительной конструкции.

– Сам до ума довел! – с явной гордостью со-
общил Василий о своём транспортном средстве,
как только мы оказались за поскотиной. – Мне
машину дали как инвалиду войны. То есть, по-
считай, бесплатно. Только куда уедешь на ней?
До большака и обратно... Стал я, понимаешь,
кумекать. Опытишко кой-какой накопил. А те-
перь смотри!

Василий газанул. Машина под нами отзвучи-
во заколотилась и, вздрагивая, полезла вперёд,
словно осторожная корова на берегу незнакомо-
го водоёма. Мы свернули с дороги на сырую тра-
ву, тянущуюся между дорогой и краем леса.

– Качкое место, а гляди, идёт как! По-
царски! – Василий восхищённо повёл головой,
будто проезжал мимо мавзолея, с которого лич-
но его приветствовал ладошкой сам Леонид
Ильич. – Тут трактора, Сань, по колено завали-
ваются, а мы, как догадываешься, идём! Идём,
идём, веселые подруги! Страна зовёт и нежно
любит нас... Во лимузин!

Машина, не останавливаясь и не снижая ско-
рости, вскарабкалась на пригорок, где было по-
суше.

– Всё самоуком, – продолжал родственник. –
Больше из книжек взял. Правда, механик у нас,
ты знаешь Кузьмича, мужик с головой, помог

сильно... Я всю свою химеру до винта перебрал,
проанализировал. Даже японский патент нашел,
а что в нём? Мои же задумки... Ой, мастера эти
узкоглазые слизывать! Ещё один приводной
мост поставил, движок до ума довел, заменил
колёса... Они там в Запорожье на одном сале
живут, вот и получается такой гибрид для инва-
лидов. Это чтоб от крылечка до сортира доехать.
Теперь видишь: не машинёшка, а девка на цы-
почках! Я ведь, Сань, технику люблю. Щас с па-
цанёшками кружок в школе веду. Всякие там по-
делки, макеты, приборы. По физике у меня рань-
ше двойки были... А нынче точная механика,
электричество, к автоматике подбираюсь – за
ней будущее. В область возили нас, мои огольцы
такую штуковину замандрячили – просто ах-
нешь. Нас и по телевизору, и в газетах про нас.
Первый секретарь пообещал осенью в Москву
направить. Да разве в том счастье?..

– А в чём?

Василий нахмурил лоб, поскрипел зубами,
но так ничего и не ответил.

...Припомнились мои школьные забавы. Од-
нажды я из большущей морковки вырезал само-
летик и притащил его на урок географии. Учи-
тельница заметила, как я вертел игрушку под
партой около коленок Таньки Горчаковой. Там я
показывал ей фигуры высшего пилотажа. А учил-
ка подумала чёрт знает что. И, конечно, «во из-
бежание каких-либо последствий» вытурила ме-
ня за дверь. Потом она встретила тётку Анну и
пожаловалась на мое недостойное поведение,
которое оказалось «на грани развратных дей-
ствий на виду всего детского коллектива». Дядя
Степан принял было сторону географички, но,
когда вник в суть дела, чуть не бросился сам в
школу. Потом поохлынул, успокоился, сел возле
меня и стал давить на мою сознательность:

– Ну, ты чево там с морковкой-то? Мы её вы-
ращивали, пололи, поливали... Не маленький
ведь... – сидел и тихо сопел, как бы винась пере-
до мной за учительскую глупость.

Наконец, он встал, посмотрел в мои глаза и
добавил:

– Учительницу взял и по глупости обидел. Ей
и так, бабёнке, достаётся, без вас. Ты уж пови-
нись перед ней. Я тебя прошу.

А я сидел перед дядей и никак не мог уразу-
меть, за какие такие грехи я еще должен изви-
ниться перед учителькой...

Учительствовали у нас тогда двое из района,
муж и жена. Он откуда-то с наших краев, бывший

фронтовик, и она, привезённая им из-за Урала. Муж заведовал местной семилеткой, учил один класс, возил дрова для себя и для школы, ремонтировал классные комнаты, а заодно и свою хатёнку в общей ограде. Но больше всего возился около двух коров и нескольких поросят, которые за лето превращались в могучих хряков и рыли в тёплые дни ямы под окнами нашей школы. Жена, красивая южная женщина, то ли с Кавказа, то ли с Молдавии, не отягощала себя домашним хозяйством. Прямая, как флагшток, выставленный возле входа в школу, она с видимым равнодушием проходила мимо принадлежащей ей скотины, а на уроках, рассказывая о чужих странах, смотрела поверх наших голов круглыми и до безумия безучастными глазами...

Позднее учительская чета оставила наше село. И я случайно узнал, что непомерно строгая географичка прошла войну медицинской сестрой. Она хранила на теле следы двух ранений, имела несколько боевых наград. А после второго ранения у этой женщины остался в позвоночнике осколок немецкой гранаты.

Тайны своей бывшей учительницы я узнал уже в те годы, когда заканчивал районную десятилетку. Больше всего меня почему-то поразило не само открытие этого секрета знакомого человека, а внезапно пришедшие на ум слова дяди Степана: «Ей и так достаётся, без вас...» Ведь он-то знал о нашей учительнице больше, чем я...

– Чё задумался? – отвлёк меня от грустных мыслей Василий. – Не позабыл ещё, где лежит Черно озеро? Щас падь минуем, за ней горелый лес, там и озерко наше...

– Как забыть? Мы к нему пешкодралом в былые времена добирались. Каждый кустик знаком. Каждый поворотик...

– Э-эх, куда, брат, заехал! Да где при тебе кусток был, там нынечь вот такущее дерево стоит. И в пять раз повыше тебя... Мне, Сань, эти места, как моя Настя, милы. Посчитай, четверть века – лето в лето езжу сюда. Раньше, бывало, на лошади. По зиме, правда, к озеру не ходок. Подо льдом ловить не в моём характере, нерв не выдерживает. Опять же, одному не с руки, а больших компаний в таком деле водить не допускается.

Свою тираду Василий закончил неожиданно и кратко, как настоящий мыслитель.

А вот и оно, золотое Чёрное озеро, когда-то казавшееся бескрайним, как море, о котором я знал только из учебника географии да из случай-

ных книжек про пиратов. Вплотную к воде прижался рогоз. На высоких тростинах набухли светло-коричневые карандаши его соцветий. Дальше по берегу раскинулись никлые силуэты ив. Нет, озеро я узнал сразу, оно – то же самое, каким было в моем детстве. На вид глубокое, молчаливое. Только теперь не такое громадное. Вот он весь, будто на ладони, берег в светлой опоясочке береговой зелени. И никакое оно не море...

– Ну, чё? Швартанёмся? – и Василий прилепил свой вездеход почти к самой кромке воды. – Тут и заночуем...

Натренированным броском он высвободил себя на берег.

– Вон у той талины шалашик изладим, сторона продувная, комарья будет меньше.

Распределили обязанности. Я взял на себя хлопоты о растопке, да и вообще о всяческом топливе – сушняке, корье, сухой бересте и прочем богатстве, которого в африканской пустыне, например, не сыщешь днём с огнём. Вот кизяк – иногда еще да. Василий между тем накачал резиновую лодку.

– Двойной стандарт выдерживает – меня и Настюху! – упредил он мои сомнения. – Испытано не раз при людях и просто так. С отцом как-то были тут, с Яшкой три раза...

Договорились с заходом солнца ставить сеть. А пока сели к «застолью»: на бугорке растелили клеёнку, на неё высыпали домашнюю снедь. Рядом с клеёнкой, подмяв нежный подшерсток густой травы, я побросал привезённую одежду – для Василия и для себя.

– Будешь? – кивком Василий показал на багажник своего драндулета. – Там у меня всегда есть.

– Изжога, – соврал я. – И вообще с годами стал чувствовать: не приносит выпивка той радости, на которую вначале рассчитываешь.

– И у меня чё-то схожее. Себя давно знаю: ненадёжный я человек для этого... Вот квашишко – совсем другой колленкор. Попробуй с Настинными пирогами. Фирменные. Эпоха!

Маленько подумал и подмигнул мне:

– Рыбак душу не морит, рыбы нет – так щи варит! Это ещё мой отец сказывал...

Влажный и тёплый воздух, близость настоящей тайги, полное отсутствие людских звуков – всё это окутывало, обволакивало меня. Казалось, что после нескольких сот лет жизни в жестоком мире я оказался среди райского блаженства.

– У, сука! – Василий хлопнул пятернёй по своему плечу – туда с налёту присосался оранжевый паут. После удара насекомое замертво отлетело в траву.

Василий раскинул бугристые руки. На предплечье, где недавно приткнулся маленький камикадзе, застывала крохотная струйка крови.

А в человеке не унималось философское начало – качество, присущее почти каждому деревенскому жителю, оказавшемуся вдали от скопища других людей.

– Меня, Сань, этот асфальт, бетон, электрички, космос – всё это тоже интересует, но не возбуждает. Мне к самой земле сердцем надо. Вот лежу на траве – и полное счастье. Эпоха!

Василий каждый раз открывается передо мной новой своей стороной. Пришёл он в семью дяди Степана неразговорчивым, занятым своими делами человеком. Лишившись ноги, когда война практически была позади, Василий с затаённой мукой нёс в себе физическую ущербность, особо изводившую его даже не как молодого мужика и мужа, а как сельского труженика. На его угрюмом лице часто угадывались внутренние терзания и протест против свершившегося с ним несчастья. Настя, бывало, поглядит, поглядит в его затуманенные глаза и спросит с незлым упреком:

– Молчишь, молчишь... Языка не добиться... Прилип он у тебя, что ли?

Василий в ответ пожмёт скулами и молча отведёт хмурый взгляд. Такой у него был характер. А может, слишком много печатей оставила на нём война, закупорила душу внутри посечённого тела...

Но всё-таки сумел он переломить себя. Не в момент, не за день, конечно, а за многие годы жизни. Почувствовал человек своё предназначение и силу. Раз от разу, наезжая сюда, я замечал, как родственник с неподдельным интересом тянется к людям, как образуется вокруг него живое тёплое облако...

Едва мы выставили сеть, темнота обволокла озеро. На зеркале воды небо почти не отражалось. Все небесные светлячки – большие и малые звёзды – покрывались прозрачными коконами и уходили на дно.

Василий предупредил меня:

– Осторожней! Глыбь тут – волоски всплывут!

Мы наугад причалили к тому месту, где засветло посрубали под корень жёсткие розговые

тростины. Первым покинул лодку я, помог Василию выбраться на берег. На озеро мгновенно налилась ночь. На такие картины художники тратят много специальной краски из сажи или жжёной кости... Настоящее Чёрное озеро!

– Темнотища! Хоть глаз коли. Ни хрена не видеть! – бурчал Василий. – Сань, мы с тобой промашку дали: надо было огонь развести загодя. Уже бы и чай ждал, и свет был. Со светом я разберусь быстро: у меня специальные аккумуляторы в багажнике на такой случай, да лезть неохота...

– Наверстаем, – согласился я.

Василий, поскрипывая протезом, направился туда, где мы засветло смастерили для себя шалаш.

Пока я вытаскивал лодку из воды, тащил её поближе к машине, отжимал воду из штанин выданных мне в пользование старых дядиных брюк, Василий развёл костерок. В темноте полыхнуло небольшое, но резкое пламя. На мазутно-ночном фоне оранжево-жёлтым привидением маячила угловатая фигура Василия. Когда я подошел поближе, он предложил:

– Заморим червячка перед сном?

Я устал от долгого пребывания возле воды (о таком эффекте мне не раз говорили те, кто долго прожил в Африке на экваторе), поэтому предложение Василия отклонил.

– А я собью охотку. Ночью с грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь. Поздняя трапеза позволительна природному труженнику. А ты, Сань, всего лишь отдыхающий элемент. Спи с богом!

Я упал спиной на брезентовый лоскут, уложенный засветло на согретую солнцем траву. Почувствовал, как в меня мелкими струйками вливается сонная услада. Но голова была светла и, главное, наполнена мыслями, далёкими от ночных фантазий, которые, как правило, уведят человека из реального мира.

– Так что тут у вас за история с Деменчихой? Какие-то полунамеки, недомолвки. Днём был на почте, встретил Сусанну. Поговорили о том о сём. А когда коснулся Деменчихи, она как с цепи сорвалась. Её-то кто укусил?

Василий перестал жевать, отодвинулся в темноту, заслонив ладонью глаза от пламени, свившегося в яркий золотисто-красный жгут.

– Так ведь от Сусанки все у нас и пошло. Ты что? Совсем не в курсах?

– Как так?! – поразился я. Мне было непонятно, как Сусанна, милая Сюзька могла стать при-

чиной вселенского раздора, чуть ли не шекспировской драмы, разыгравшейся в нашем небольшом селе.

Всё, что было здесь до моего появления, всё, что казалось до этой минуты чужим и далеким, в один миг приблизилось ко мне, коснулось меня, я чувствовал, что становлюсь невольным соучастником этих важных событий. Вдруг интуитивно ощутил я их отдельные звенья, но сама цепь где-то терялась, хотя была совсем рядом – просто я многого не знал. Знали дядя Степан, тётка Анна, тётя Феша, Настя, Василий. А самое первое звено, выходит, находится в руках у Сусанны... Мне захотелось во что бы то ни стало пройти по всей этой запутанной цепи. Может, она где-то касалась и лично меня...

– Так тебе никто ничего толком и не сказывал? Надо ж! Скоко уже у нас живёшь, а ровно как неподкованный на льду... И я, чучело заболотное, думал, ты уже в сути нашей катавасии... Эпоха!

Мой сон рассеялся, словно отогнанный ветром дымок костра. Василий зачем-то почесал казанок указательного пальца – наверное, чтобы унять волнение, готовясь к важному разговору.

– История любопытна и поучительна... Правда, испытать её на себе не пожелаю никому! Шутка ли в деле: Лёньки-то Деменцова в итоге нет...

Василий подкинул в огонь два сырых берёзовых комелька, чтоб костёр горел не так споро.

– Председателя нашего Деменцова помнишь? Присылали из района или даже из самой области. Был он там кому-то брат или сват. Теперь хрен это кому надо. А тогда он ставил себя выше самого Папы Римского. Царьком возомнил и вёл себя, как душа пожелает. Дружками, конечно, пообзавелся. Они ему здорово помогали. Кто сено колхозное тасил, кто половину нашего ельника под Новый год в город сплавил... Бабёнки заезжие появляться стали. Дошло до того, что рюмки по домам сшибать начал, а попробуй, откажи... Но пришёл и ему конец. После разгромного фельетона в областной газете дело ушло в райком, а оттуда в суд. Из партии мужика подчистую выгнали, а в суде опять же дружки дело застопорили... Ну, он вовремя смикитил и подался в бега. Так и отстали от него. А Деменчиху с Лёнькой народ пожалел. Правда, председателю избу пришлось им сдать, в другую перешли. Но пальцем на них никто никогда не показал, вслед никто не позволял плюнуть. Они, по сути,

самые пострадавшие оказались. И морально, и материально. Да и сама Деменчиха от своего мужа всегда отличительной была, приветлива для народа, не выряджалась боярыней заморской. Никаких дох и шуб на ней не видели, всё в обычных польтах с цигейковым воротником. Лёнька в районе школы окончил, в интернате там жил. Вскорости его в армию призвали, а там тоже не вечно. Весной прошлого года парень демобилизовался, да ещё в звании сержанта... Тюфякам лычки не дают.

Василий отломил от валежины кривую ветку, поворошил острым кончиком малиново-синее чрево костра, снова повернулся ко мне.

– А Сусанку ты как свои пять пальцев знаешь. Николаша при ней в торговле много лет проработал, мужик был работающий – вроде и спать никогда не ложился. Жила Сусанка за ним, как за божьим даром. Да вот на её голову нашлась у нас одна стерва Лидочка-ветеринарша. По пятки опутала мужика. Втетерился, значит, Николаша в неё и задурил. Мужик в поре был, а той вертихвостке лет двадцать... ну, с небольшим, может. Виском повисла она на Николаше. И уже в открытую у них началось. Сусанка, как прознала про его шашни, так в толчки и вытурила из дома. Николаша сначала в дыбы: мол, и моя тут домашность! Но Сусанка баба крепкая, чуть грешным делом не пришибла его вальком рубчатым. Мужик, значит, в запятки... Укатали они в тёплые края с молодухой – от греха то есть подальше... А Сусанке-то каково? Женщина совестливая. Извелась вся, в нитку вытянулась. Да и это б ничё... Дочка у неё как раз поспела. Девка, если не видел ты, я те дам! Маруська в аккурат десятилеточку окончила. Бросила Сусанка свой магазин, там Николашины друзья под статью её чуть не подвели, и ушла на почту, оттуда наш Васильич только-только на пенсию ушёл. Всё к одному. Грамотёшка есть – её куда не денешь...

Василий опять почесал мизинец. И что он ему сдался?

– А теперь пару слов о Маруське. Чтоб про неё говорить или слушать, надо иметь большое терпение. У вас в городе это нервами называется. Так вот, Маруська ни о каком труде, оказывается, и слышать не желала. Пошла в правление, там девчонку за её вид да за мамкины заслуги посадили на телефон. Ну, вроде бы как канцелярией чуть ли не самого министра стала заведовать. Хватила Сусанка с дочкой сладкого до

слёз... Маруська – девка смазливая, с каждым фильти-милты пошла, приезжие с шоколадками к ней, а она уже выбирать начала. Народ-то, он всё ухватывает. Знает, кто докуда её провожал и во сколько они расстались. Ну, что ты мне скажешь, если мы тут одним кагалом живём? Это вы там в одном подъезде с соседями проживаете и не здороваетесь. А тут уклад другой, не нами придуман... Поговаривали, что к девчонке женатки пытались дорогу наладить... И чё, скажи, в этой сложной ситуации матери делать? В какие колокола бить? В какое ухо и кому шептать? Ты вот знаешь? Нет! То-то и оно! А у Маруьски свой изворот уже: привыкнет собака за возом бегать, так она уже и за пустыми санями скачет... Уревелилась мать слезами, дочку на совесть брала и на силу. Всякое бывало. Маруська с синяком под глазом по деревне идет и радуется – будто во взятии Берлина поучаствовала... Ей вроде как на пользу всё это. И что интересно: красивше с каждым новым днем, хоть в кино её ставь вместо Быстрицкой или Чурсиной. Пройдет у палисадничка, тиль-виль – у многих мужиков руки-ноги отымаются. Николаша-то, отец Маруьскин, тоже смазливый был по молодости, да и потом ничего. Ветеринарша, видать, с понятем была, толк в мужиках знала. Конечно, правду сказать, я там не был, да и другие близко не стояли, только славу-то пустые да недобрые языки разносят. Я так понимаю: Маруська сама себе сильно девичье достоинство подпортила. Победительницей, повелительницей целого мира себя возомнила, а на самом деле просто теряла авторитет. И свой, и материнский. Говорят, подружки вокруг неё сбиваться стали, вечеринки устраивать... А геморрой ведь с этого начинается. Сусанка, слов нет, успокоиться не может – девке неполных девятнадцать. Мать где зубами поскагыркает, где хряпку попытается нагнуть... А чё толку? Дочка ей сказала раз: «Тронешь ещё – над собой че-нибудь сделаю!». И отстала баба от пороса...

Рассказчик зажмурил глаза от набежавшего дыма. Потом сидел, молча смахивая подступающие слёзы. Я тоже молчал.

– Не уснул? – кивнул в мою сторону Василий. – А то выйдет, будто сам себе бормочу, не задремать чтоб...

– Нет. Потянуло на раздумья. Вечность, костёр, Маруська... Каким образом всё это связано меж собой?

– А у меня на руках кожа ошершивела, надо ж, какая вода здесь. Чё-то в ней есть такое.

Как пить дать, есть... Анализов никто вовеки не делал... Эпоха!

Разговор сник и показался законченным. Была глубокая середина ночи. Василий подбросил в тлеющие угли костра сухие прутья черёмушника. Дымок качнулся сначала в одну сторону, потом в другую, и тут пламя подняло его над землей. Бронзово-золотое лицо Василия выступало из черноты ночи, как лик тибетского бурхана.

– Ну, так что? – спросил я, чтобы нарушить наше общее молчание.

– Сдаётся мне, что самое неразгаданное на земле – это не смерть. А она, злодейка-любовь... – задумчиво произнес Василий.

Опять красота книжных слов перемешалась у него с очарованием исконного сибирского говора, который проник с нашим братом уже во многие города и страны. И не удивлюсь, если иное меткое слово – наше, сибирское – вдруг оказалось самым подходящим в разговоре где-то совсем в другом месте. Глухими таёжными тропами кружило его, просеивало на долгих вечерках и посиделках, прежде чем отправилось оно бытовать по белу свету. Может, среди других русских слов и в Африке, на линии экватора осталось какое-нибудь запоминающееся слово, занесённое мной из Сибири. Кто знает...

– Любовь – как разбоистая река, – изрёк бронзовый бурхан с фигурой зятя Василия. – Вот текла она много времён тихо и ровно. А раз в сто лет проходят где-то дожди. И большая вода враз размывает мосты и переправы, плывут по ней целые деревни. И не найдёшь на прорву никакого спасу...

Над почти неуловимой глазом кромкой леса прокатилась звёздочка, оставляя после себя голубоватый, тут же растворяющийся след.

– Метеорит! – интонацией старого академика-астронома изрёк Василий. – Лет пять назад в этих же местах целая каменюка с неба сверглась. Много шуму было, и всё в прах. Наши мужики как раз на покосе ночевали, не спали еще, видели катаклизм своими очами. Потом привезли домой пять кусочков – каждый по грецкому ореху. Похожи на гальку окатышную, только ноздреваты все. Один у Настасьи до сих пор в пуговках валяется. Может, кому и надо... Слышал, за ними целые экспедиции снаряжают, а у меня за так это добро лежит. В газету писал, заметку в самом конце пропечатали – там, где место для всяких некрологов. Ну, правда, пять рублей прислали... И никто, видно, из нужных людей не по-

любопытствовал. А учёные люди – они пустым делом не занимаются, газеты только просматривают, а не читают. Вот и не пересеклись пути нашего метеорита с дорогой ответственных людей из академии...

Я не хотел спать. Не тянуло на сон и Василия. Своими разговорами мы настроили себя на бодрствование. В этом деле Василий был мужик, что называется, битый. Он хорошо знал, чего я жду от него...

– Значит, всё началось в тот час, когда Лёнька Деменцов вернулся из армии. Как полагается, Деменчиха устроила встречное застолье в честь славного возвращения сына. А Лёнька прибыл не только с лычками, но и при деньгах, службу тянул в стройбате, да и у самой Деменчихи кое-какие деньжата водились. Короче, соседи подошли, нас с Настей пригласили. Сусанна была, Лёнькин дружок Толян-молоковоз, парни, девки. Ну, пляс-перепляс. В общем, отменная гулянка получилась, у Матвея Пшеничникова вся рубаха на спине спотела. И, понимаешь (вот как оно бывает!), в разгар всего этого Маруська нарисовалась. Ключи, что ли, ей от дома понадобились... Ну, и всё...

Сказав это, Василий опять примолк.

– Что «всё»? – не выдержал я.

– А то. Тут, скорее всего, судьба свою роль сыграла. Лёнька, как глянул на неё, язвы ты, так и пристыл у него язык во рту, только шарёнки вылупил. Подрезала враз Маруська его своим видом, за секунду обворожила... Здесь, Сань, надо слово заветное знать, не меньше. Стоит, значит, Лёнька, принародно нюни развесил, и ему ни одна холера не может слова сказать путёвого. Застыли все, как вкопанные: гипноз, говорю, форменный гипноз. А может, любовь такая с первого взгляда... Только Маруську в конце концов всё же совесть убила. Взяла она ключи от матери, глаза в землю и задом из ограды – виль-виль. К себе, значит, домой отошла. Никто её словом не удержал, а уж к столу и вовсе не пригласили. Это я считаю неправильным. Настя моя, как воронья яйца ела: «Ну, будет ещё!» – шепнула тогда мне... Короче, праздник не в праздник, настроение ни в сноп, ни в горсть... Лёнька, как Маруську увидел, воды в рот набрал, натянул губы и ни на кого не смотрит, будто не к нему гости пришли. Сидит шаляй-валяй – ни рыба, ни мясо. Я его понял: осиротела в момент у человека душа. Когда простились, Деменчиха так зыркнула на Сусанку, так приколола её глазом – у

той точно сердце захолонуло. Ну, и кто тут и где, скажи, виноват? И есть ли виноватые вообще? Но все поняли: не будет Лёньке без Маруськи житья...

Дрова в костре выгорали. Только, когда напозал ветерок, верхний слой золы распадался, и сердцевина кострища густо краснела последней огненной силой.

– Вот так. Через неделю поползло по селу: крепко спутался Лёнька Деменцов с Маруської. Сусанна, ясное дело, переживает – свою дочку поедом ест. Почта-то от нас в трёх шагах: всё видно, всё слышно. «Это чё же, батюшки! – чуть не воет она по вечерам. – Ты куда собралась, безобразница, на ночь глядя?» А Маруська только посмеивается, чё-то меж зубов, видать, скажет, ещё больше взбесит мать. Я их и ту, и ту знаю: одна – задержиха, другая – неспустиха. В общем, орёт Сусанка дурниной на дочку. Да толку-то в том? В потаях они, видать, с Лёнькой жили. Кто видел, говорил: походят, походят за огородами, потом – шасть в кусты и до утра там...

Деменчиха, Сань, тоже только слезами умывалась. Лёньке ни слова. Сидит по ночам и ревет. До утра свет не гасит, как при покойнике... А тут, случись же, Сусанку на курсы какие-то вызвали, чуть не на месяц. Ну, и пошло-поехало... Лёнька в ночь-полночь по морозу космачом к Маруське бежит. То ли с ума она сбила парня, то ли Лёнька так ей в сердце вошёл. Только перестали скрывать они ото всех, что меж собой вплотную якшаются. А вскоре и Сусанка на порог после своих курсов явилась. От людей, ясное дело, слухов всяких набралась. Ну, и спустила на непутевую дочь полкана. Маруська к Лёньке. Тот с ней к своей матери. Хочу, говорит, мама, жениться. Вот невеста моя Маша Лихачева. Люби, мол, её и прочее. Глянула только Деменчиха на Маруську и повалилась в крике: «На дух не надо её мне! Не для этой шлюхи я в тебя свои силушки вкладывала. Знаешь ты, сколько у этой стервы в постели мужичья перебивало?»

Тут Лёнька не сдержал себя, взбеленился. Правда, без подлости к матери, но в ярости объявил, что уходит из дому. И верно, немедля собрал своё шмутье и поселился у бабушки Антипиной. Стал давать за угол десятку в месяц, а старушке больше и не надо... Деменчиха же, как сошёл Лёнька на отдельную квартиру, совсем сдала: будто у человека из глаз свет выкатился.

С уходом Лёньки от матери у молодых вроде как-то поутихло. Хотя ходила про них всякая

всякота: где правда, где нет – кто теперь это разберет? Да и копать в чужих пожитках нехорошо... Ну, а на родительский день Маруська матери открылась: мол, сташнивает, нежданно-негаданно в тягостях оказалась. Залетела, выходит. Сусанна стерпела, ни одного худого слова Маруське в ответ. Только сказала: «Ну, что ж, дочка, с поклоном пойдём...» А Маруська – она ж девка уросливая: «Нет, мамк, в своём доме сватов дождусь, по-другому не будет!» – «Что ж ты дурочку порешь? Так можно прождать до морковкиного заговенья. Доведись до меня, я б к нему на кукорках полезла, чтоб в жёны взял...»

Ну, дале – боле, шире, доле. Сам понимаешь... А решать-то надо. Надо думать, как из греха вылезать. Мужиков дельных рядом не оказалось. И пало в голову Сусанке самой к Деменчихе в ноги валиться. Не знаю уж, об чём у них меж собой разговор был, только вылетела Сусанка из деменчихиной избы, как пробка от шампанского, и безо всего. Ну, не совсем без всего, а в исподней рубахе да на одном плече рукав от платья... В копыа, видать, побились, и всё из-за Маруськи. Деменчиха вслед выбежала на улицу, кричит, как зарезанная: «Не дам крапивёнку родиться, не допущу сраму в доме своём!»

Кто из них прав, кто виноват – наверно, каждый на свой бок. В общем, полетела Сусанка изо всех рысей к Лёньке. Через неделю они с Маруської заявление в районе подали – вроде всё вышло по-человечески. Да вот не обошлось всё же...

Костер потух. Даже крохотного следа в ночи не оставило то место, где над землёй час назад вилась огненная ткань. Оттуда на меня тянуло только терпким теплом да подгорелой травой.

– Вот тебе и эпоха! – не то огорченно, не то назидательно произнес Василий. – Деменчиха, как услышала, что Лёнька ездил в ЗАГС с беременной Маруської, не могла найти себе места. Змеищу, говорит, подпазушную во веки к себе не подпущу. И Лёньке она – живая погибель. Где только глаза у него? Нагульный, мол, этот ребетёнчишко, да и наверняка не от сына моего. Но дело-то сделано. Заявление, как надо, принято. Ни Маруська, ни Лёнька не стали настаивать, чтоб их сразу расписали ввиду уважительной причины. Заметь, Саня, это тоже узловый момент, он говорит о многом! Попросили положенного срока. Им месяц и дали. Да только вышло всё наперекосяк...

Василий повел плечами – видать, начал зябнуть. От его вида я тоже поёжился, но ничего не сказал. Не хотелось перебивать его.

– А что наперекосяк пошло?

– Сусанка на Маруську накинулась: зачем целый месяц ждать? Растолкуй чужим людям, что уже с дитём ты, покажи им живот свой – вас распишут без проволоки... Ну, и опять коса на камень. Маруська на своём настояла. Не знаю, что произошло, только по виду меж молодыми любовью на убыль пошла... Их вместе, пожалуй, никто и не видел с тех пор. Старые слухи забываться стали... Ходила всякая бяка деревенская, так она всегда у нас шастает. И вот тебе: случай такой вышел...

Было это, значит, где-то около середины июня. Иван Белозеров дом у себя перекачывал. Понятное дело, мужиков на помощь организовал. Дом, помнишь, ещё дедов был. Нижние два венца заменили, остальные опять на место. Само собой, мох новый уложили. Мужики как раз черепичный ряд клали. Только-только бревно наверх стали поднимать, тут Лёнька откуда ни возьмись. Мимо бежал. Иван ему: «Лёнь, подсоби! Аль к теще торопишься?» А Лёнька: «Ага! К ней! Сваваться пошёл, вот бутылка за пазухой!» И – чудечко на блюдечке – сам во двор к Белозеровым: «Чё не подсобить-то? Токо ты, дядя Иван, пойдиди у меня за свата!» – «Знамо дело, пойду, а за что б ни пойти? Тут до почты два шага. Если бы в знатье – мы бы с тобой, Лёня, там ещё вчера управились. Не горкой, женишок! Попозжа и закатимся. В толчки гнать не будут».

Лёнька снял с себя пиджак, скинул рубаху. Кинулся в охотку к бревну. Мужики видят: подмога крепкая. Лёнька-то, он ведь как витиеватое дерево сплетён был, жила к жиле и кость отцовская – широкая... Подняли три бревна, сели, перекуривают. Алексей Белозеров спрашивает: «Будешь добром брать Машку?» – «А как же иначе, дядя Лёша? Любовь – она только в добре и живёт...» – «Надоть, надоть, Лёнь! Подходява для тебя девка». А этот, как его, осиновое ботало, Игорь Богомолов не сдержал языка: «Пузо Маруське сам намозолил или дружки помогли? Небось, лето ждал, пока рассосется?» Алёха Белозеров аж закипел весь: «Болтай боле! – и ещё матюгом запустил. – Мало чё? Говори да оглядывайся!»

Лёнька, ясное море, на Игоря глаза сбывчил, топорище в ладошку взял. Мужики думали: табак дело, так не только до грудков дойдёт... Да тут

Белозериха вовремя объявилась – она у него баба ухо с глазом. Ну, конечно, проякорь вас побери! И всё такое прочее... Как, мол, вам, мужичьё, не совестно, – всякий мусор собираете! У тебя, Богомол, рожа – на семером не объедешь, а ума с булавочную головку. Игорёк и попритих.

Мужики, отдать должное, сообразили, чем дело пахло. Игорька вроде в смешки взяли. В нём норов взыграл, хлопнул он кулаком по столу – мол, не дорого дано, не больно жаль! И пошёл со двора... Белозеров к Лёньке: «Прости за оплошку, сдичал человек. Бог с ним. Только уж будь добр, останься. Нам, дескать, без Игоря да без тебя дотемна не управиться!» Лёнька, царствие ему небесное, уламывать себя не дал, остался.

Черепичный ряд выложили, матку подняли, стропила на место поставили, угощаться уж направились, а тут опять Белозерова баба: «Пока ужин собираю, гостинёчки дорогие, покидайте тесинки наверх, а то я завтра картошку окучивать буду. Лексею подсобить не смогу. А он стропила обрешечивать собрался».

Стали мужики Белозерову доски подавать. Гамузом – дело минутное, одна за одной... А Лёнька то ли торопился, то ли не в себе был. А может, на роду так написано... Взял плашку и метнул её вверх. Видать, хотел к Алёхиным ногам поближе кинуть... И что ему показалось, будто доска на место пошла? Отвернулся... А она, падлюка, об матку вжину и назад к нему, прямо углом торца в висок, наутык прямо... Не успел он, наверно, ни про мать, ни про Маруську подумать. Смерть – это ж какое несчастье! Я порой думаю: Лёнька на неё сам шёл, на смерть ту. Вот только зачем – не могу дать ответа себе. Ведь такая жизнь ему светила!..

Как бы то ни было, сон взял своё. Под ровный перекатывающийся говорок Василия, будто под пение скользящего по отглаженной гальке ручья, я незаметно уснул, причём голова так и осталась на локте полусогнутой руки. Снилось мне чередование известных и неизвестных лиц: и бледная мама в косынке с голубым горошком, и Матвей Пшеничников. Красивая девушка Маруська пыталась подать ему заветную хромку, но рядом стоял хмурый парень со свежей раной над бровью и, не произнося ни одного слова, тянул гармошку к себе. Тут же оказался мой бывший прораб Шитин, он стоял с Колей-морячком у кривой ивы и всё не мог раскурить дядину трубку из чёрного дерева. Местный композитор

бегал в длинных трусах и почему-то требовал, чтобы его целовали женщины. С деревенской колокольни, коей у нас не было во веки веков, Игорь Богомол пытался сбросить большущий колокол. Возле меня оказался Лёнька Деменцов с лицом брательника Яши. Лёнька старался увернуться от медной махины, но его ноги словно прикипели к земле. Вокруг нас простиралась незнакомая пустынная местность, а под куполом церкви стоял уже не Игорь, а бородатый араб-мусульманин, он толкал колокол вниз и, смеясь белым ртом, орал Лёньке: «Это тебе!» Вдруг колокол прогудел рядом со мной, накрывая собой Лёньку, я закричал... и проснулся.

– Приснилось что-то? – спросил из кузова своего самоката Василий. – А то кричал ты как-то по-курачьи, от хороших снов такого не бывает.

Солнышко уже лизало небо жарким, как у собаки, языком. Кое-где над поверхностью озера таяли последние перышки тумана. Василий знал свое дело:

– Вставай, Сань, лезь в воду. Она тебя теплом примет.

В озеро я не полез. На душе было беспокойно, в груди репейным комком скопилась горечь. И, казалось, подними голову – увидишь над собой араба, толкающего позеленевшее от одиночества брюхо колокола...

Мы разожгли утренний костёр, уставили в нем чайник и направились поднимать сеть. Когда лодка отошла от берега, Василий заметил:

– Низкий туман был нынче. Хорошая примета. Рыбёшки наберём, не сурочить бы...

Когда потянули сеть из воды, Василий неожиданно ругнулся:

– Во, холера! Ты погляди на меня: есть у чурки глаза?

Я начал соображать, в чём причина такого недовольства. Оказывается, второпях да потемну мы не расправили сеть, как полагается. Около берега под водой с прошлых лет сохранились длинные камышовые палки – вот на них-то и легла почти вся наша снасть. Рыба по всем правилам науки прошла мимо.

– Уф, окаянная! Уф, ты! – то ли на сеть, то ли на рыбу в сердцах ворчал Василий. Неожиданно остановился, успокоился: – А, ладно! Худому всегда худо... На ушицу наскребли, и хватит. В другой раз умней будем.

Он оказался прав: всего улова только на меленькую ушицу и хватило. Три чебака, тощенький шурёнок, пара приبلудных ершей, три окунь-

ка да карп в полкило... А если бы не этот несчастный камышовый частокол? Вот бы, наверно, нацарапали рыбы...

Чёрный перец перебивал рыбный навар, драл горло, до чиха щекотал недра носа.

– Уха – божий дар! – выдохнул горячим ртом Василий. – Мёртвого за уши не оттянешь...

Я видел, что он ищет тему для разговора, чтобы развеять и скорее позабыть своё вечернее посрамление. И я пошёл в его нехитрую ловушку. Без всяких предисловий и наводящих вопросов поинтересовался, что же произошло в деревне после Лёнькиной смерти.

Солнце высунулось из-за деревьев, рвануло с силой оставшийся над землёй мутный полог и белыми клочьями погнало остатки тумана в высоту. Значит, к дождю. Василий отодвинулся от прогоревшего костра, снял синюю с мелкими виллюшками рубашку, сел белой спиной к солнцу.

– Вот так Лёнька себя и порешил. Первой, как положено, сообщили Деменчихе. Мать, она есть мать... Та без ума прилетела. Чё там было – сам понимаешь. Хуже всякой трагедии. И Маруське кто-то шепнул. Она тоже во двор к Белозеровым примчалась... Следом за ней Сусанка. А в ограде уже полдеревни, милицию и доктора из района ждут. Белозеров весь, как стена, белый – надо ж такой беде случиться в его доме. Ивана-то тоже можно понять, вроде прямой вины нет, а душой виновен... Ну, в общем, Маруська в слезищах вся, Лёньке на грудь упала, по сути, он муж ей, а не колода какая... Да не тут-то было. Деменчиха, как коршун, девку за космы и на дорогу. Никто не посмел стать у неё на пути. «Уйди, – шипит, – похотливая корова!» Только одна Сусанка к ним. Хорошо, бабы разняли, а то бы ещё одной смерти не миновать... Наконец, всё порешено было, Лёньку Деменчихе отдали. Так она Маруську все три дня близ двора своего не подпустила и наказала через людей: явится – удушю. Это, мол, она сына загнала в гроб. Вот, собственно, и вся история. С таким, значит, исходом. Как говорится, ни руду, ни плоду...

Теперь я понял, что в день приезда на кладбище видел Маруську. Это она торопилась тогда впереди меня, притулив черенок лопаты. Приходила, чтоб втайне побыть у мужевой могилы. А заметив меня, поспешила уйти прочь с чужих глаз.

Мне показалось, что чередой всех известных мне событий замкнулась. Дальше начиналась

просто обыденная жизнь. Василий повернулся на бок, разбив нестойкую тишину:

– Книгу об этом написать бы. Я пробовал. Ничего не получается. Мыслей много, а сложить все вместе нет тямы.

А я думал о безысходной судьбе двух молодых людей. И ко мне постепенно приходила успокоенность. Такое уже однажды со мной случилось. Помню, когда маму передавали нам из морга, я не мог представить, что не только её не стало, но и никогда не будет. Я мучился, страдал, в голове создавались какие-то фантастические, почти кошмарные образы. Я даже мысленно не мог увидеть маму не той, что она была дома до своего отъезда в райцентр. Несмотря на запрет отца, я вбежал вслед за ним в низкое каменное здание чуть поодаль от больницы и увидел, наконец, неживое лицо мамы. Поначалу меня охватила холодная жуть, а потом я пригляделся и понял: то была совсем не она, а её прах, ненавистный и чуждый мне. И я вдруг почувствовал внутреннее облегчение – во мне оборвались, наконец, ужасные видения. С такой мамой я не хотел быть рядом. Мне было жаль мою живую маму, которой, я понял, больше никогда не будет. И я заплакал...

Нечто подобное испытал я и на этот раз. История Лёньки Деменцова и Маруськи, Сусанкиной дочери, была от меня очень далека. Неслучайно Василий, потирая опухший палец, снова спросил:

– Тебе оно к какому боку? Тоже собрался написать книгу? Это мы меж собой кукарекаем, варимся, а у тебя далёкая от наших интересов жизнь...

– Нет, Василий! Это касается меня, как и дяди Степана, и Насти, и тебя. Как той же Сусанны, Деменчихи, Коли-морячка, Алинки бесшабашной... Ты вот рассказал мне всю правду, и свалилась с души целая булыга!..

Ехали мы с озера той же тряской и изгибистой дорогой. Василий вёл свой лимузин в самом высоком расположении духа и без умолку выкладывал мне свои познания по флоре окружающих лесов и полей. Заслонённая этой лекцией о цветах и травах, отошла на второй план невесёлая история с сыном непутёвого председателя Деменцова и дочерью моей бывшей одноклассницы.

Когда я появился возле дома дяди Степана, тётка Анна взволнованней обычного всплеснула ручками:

– Ахти, мнеченьки! Небрит, устамший и, поди ж, голоднющий? Этот Василий всегда готов хорошего человека умаить. Нет, нельзя мужиков без призору оставлять, они ж как дети малые. В озере хоть не потопли, и на том слава Богу!

Дядя Степан сидел около сеней в тенечке. Недовольный тёткиным квохтаньем, крикнул:

– Чё впустую завелась? Васька – он вовек такой. Весь от души, за всяко просто. С ним-то как раз не потопнешь! – Но потом всё же выговорил и мне: – А ты тоже хорош гусь. Не объявил, что с ночёвкой... Мы и вправду Бог знает об чём думать стали. Ждали-ждали и жданы съели... Вон в соседнем районе недавно случай был...

Тётка Анна сошла с крыльца с листком телеграммы.

– Вечор Сусанна была, вот тебе из дому.

Я мельком пробежал по словам, аккуратно выведенным почерком Сусанны, понял, что в моей семье всё нормально. Значит, и у меня ни в одной клеточке души теперь не будет тревоги.

– Сусанка-то вроде как по делу приходила, – подал голос дядя Степан. – К тебе, Сань. Выспрашивала, когда будешь, что, мол, ноне делать собираешься. А я знаю? Телеграмму принесла лично – это, понимай, заделье нашла. Днём у них почтальонша по дворам ходит. Сама она, Сусанка, бумажки разносить не обязана.

– Так и есть, к тебе навевывалась. На последе сказала, будто б ты ей нужен, – дополнила тетка Анна. – Бог ты мой, в како дело баба встряла! Послушать только да руками развести...

– Василий мне на озере про неё рассказал. Нелепый случай. Не укладывается в голове. Заверчено, позакручено всё...

– Маруська и виновата! Рано хвост задрала. Мать не зря её едом ест. Чё нищету-то плодить?!

Дядя Степан показал из-за льяного полога седую голову. Взглядом попросил у меня защиты от жены и поддержки своим словам:

– Ты посмотри на неё! Ни чох-мох не понимает, а туда же... Квашню притворить, самовар поставит – твоё дело, Анна! А чё ты суешься, куда не след? К чему потакаешь Маруське ребенка выжить? Ясное дело: мать у ей в себя не пришла, ну, молотит всякое... Срам один. Только вам к чему это? Зачем девку с панталыку сбиваете? Или сами никогда не рожали?

– Не по разу ещё. И завсегда по закону. И отец у каждого был! Вот так вот!

Тётка Анна налилась внутренним упорством. Сейчас она походила на наседку, раскинувшую

обрезанные крылья перед возникшей опасностью. Не дожидаясь ответных слов мужа, продолжила наседать, гнуть своё:

– Сам, Стёпа, на вред говоришь... А ить не продумал, как мать девчонкина народу в глаза поглядит. Да то ли ещё... У Маруськи зенки-то бесстыжи-бесстыжи. Ты хоть раз в них смотрел? Она в подоле своего зауголка принесёт – нет, не тебе, Стёп! А: «На, мамк, нянчись, а я снова охотку тешить пойду...» Не, Стёп! Сусанка свою жизнь обстроить по-людски не смогла, а тут ещё такая напасть... Время есть, и выжить не грех – не она первая, не она последняя. Там в ей не дитё еще...

– А кто? – взорванным голосом вскрикнул дядя Степан.

– А никто! Пустышка! Вот ране беда была, баб сколько из-за этого настрадалось да померло... Теперь Маруську любая больница за чисту душу примет. Отца-то, как ни говори, нет и не будет. А безотцовщину плодить – не война...

Разговор принимал крутой оборот. Я знал нрав своих стариков: пока они меж собой не нажгутся, спора не оставят. И ведь каждый, когда говорит, кажется правым. Так что с моей стороны было бы нечестно подливать масла в огонь, становясь на защиту одного из них.

Дядя Степан ступил голыми пятками на горячий твердозём. Качнул головой.

– А я чё, выходит, совсем ничё не думаю? И говорю, с твоих слов, чё попало? А? Ну-ну, ребята... – дядя Степан задумался, кончиками пальцев здоровой руки потёр лоб. – Оно, конечно, верно: и Деменчиха с Лёнкой, и Суська со своей красавицей – нам чужие люди. И вроде не до них наше дело. А мы с тобой и подавно старичьё... Да вот в голове моей по ночам, как Лёнку доской зашибло, киш кишит... Я ить сухой с виду, ёк-маёк, да токо сердце во мне к чужой беде слабое. Мне и ту же Деменчиху жалко, и Сусанку. А вот Маруська – особь статья. Ей после них жить, она в первую очередь должна мысли мыслить. Кто поспорит со мной? Да Маруське Лёнка как солнце был. Оставьте вы ей хоть лучик от этого солнышка...

– Ничего твоё дело! – снова оттопырила крылышки тётка Анна. – Посмотришь на него – так ангел господний... Он, Сань, – это уже ко мне, – знаешь, со мной на спор пошел! Был такой день – даже курево своё в печку кинул, пожёг. Во до чего дошло! Не человек, а характер. Говорит, в жизнь не задымлю, ежелив Маруська к таким, как я, склонится... И чего старому надо?

Теперь я понял, что значили дядины слова о каком-то принципе, когда я вручал ему трубку. Значит, достали человека. Курил, курил почти семь десятков лет, а тут – нате: все мысли в разные стороны! Но, видно, крепится старик и в душе тешит себя: мол, закурю ещё! И из моей трубки надеется подымить.

Я взял свою одежду и пошёл в дом. Голоса хозяев доходили и сюда, но слов уже нельзя было разобрать.

Мне почему-то не хотелось встречаться с Сусанной. Это может быть непосильный для меня разговор, в котором я знал своё место, но не знал ответов на вопросы, которые заготовила для меня одноклассница.

Как только опала послеобеденная жара, но солнце было ещё далеко от горизонта, я отправился на кладбище. Прошло столько времени, а мне не удалось выкроить час-другой, чтоб посидеть у могилы родителей, принести на надгробие свежей земли, вырвать из-под оградки выросшие метёлки дикого травостоя. Тётка Анна собралась было со мной. Но дядя Степан, метнув взгляд, остановил её:

– Пойдём, мать, в другой раз. Мы с тобой часто бываем там. Пусть африкан один сходит, душу отведёт. Это такое дело... Без лишних людей оно лучше.

– Я б водички от Дуськи Шипилиной принесла, на могилке б земельку полили...

– То-то он не принесет сам? И к Дуське ходить ни к чему. На курятниках своя водокачка, чё ему пяток минут ходьбы? Принесёт. Парень – самый прыск!

Шёл я по пыльной дороге, на которой лежали следы от колёс и людской обуви. Мне почему-то вспомнились слова отца, сказанные им без всякого назидания: «Дело, которое делаешь от сердца, заканчивать не торопись; которое разумом – не откладывай на потом. Потом – это никогда!»

Над кладбищем господствовала торжествующая тишина. Только среди старых берёз, понизу, где ещё кучерявились зелёные веточки, сновала мелкая птица, издавая разные шорохи. Я положил лопату и пошёл за водой на ферму. Как только вернулся, увидел возле могилы Лёньки Деменцова женщину. Я вспомнил её – это была Лёнькина мать. Не хотелось встречаться с ней, но по-другому было не пройти. Я приблизился к месту, где прямо на земле, опершись на

одну руку, сидела Демечиха. Она подняла на меня тяжёлый невидящий взгляд. Глаза на почерневшем лице были впалыми, будто вдавленными.

– Здравствуйте! – вынул я из себя.

Деменчиха ответила молчаливым поклоном, медленно качнув головой. Я обрадовался, что пройду мимо, и на этом закончится наша случайная встреча. Но едва я оставил женщину позади, она настигла меня хрипловато-приглушённым голосом:

– Простите, я вас только сейчас признала. Вы, надо быть, племянник Степана Алексеича? К отцу с матерью пришли?

– Да, – растерянно отозвался я. – Три года не бывал здесь...

– А у меня горе, – произнесла Деменчиха без всяких чувств – не жалуясь, не освобождая переполненную скорбью душу. – Сынок мой единственный теперь здесь покоится.

У Деменчихи в глазах не было ни единой слезинки. Оттуда, где у человека стоят слезы, давила беспощадная до отчаяния тоска.

– Я слышал про смерть вашего сына. Разделяю большое материнское горе!

– А вы-то ещё меня помните или позабыли всех деревенских? – не дослушав до конца мои слова, спросила Деменчиха.

– Помню. Вас помню. Даже помню, как вашего мужа к нам из района присылали...

– Будь он проклят, тот день! – вымолвила Деменчиха, и снова ни одна черточка на ее лице не шевельнулась. – Так с того раза вся жизнь пошла на нет...

Она умолкла. Казалось, совсем закончила разговор. Уставилась немигающими глазами в ровный срез земли на могиле сына. Но вдруг встрепенулась, будто сбросила оцепенение от долгого колдовства:

– Мальчик с ним, как волчонок жил. Поздний он был у нас. Потом и от меня Лёничка отдалился. Лишне я отца беглого защищала, не понимал ребёнок, что ради него же старалась... А жили-то как? На кроватях ремок на ремке, Лёня до середины мая пимы подшитые не снимал, другой обуви не было. Надеялась, от сыночка счастье придёт... Да не в судьбе оно моей записано. Небось, слыхивали, какой сыр-бор после смерти сыночка заварился? Народ – как вода. Брось камень – сразу круги пойдут...

– Слышал вскользь. Но плохого ни про вас, ни про сына вашего никто не говорил...

– А что мы? Это всё идет от волчицы разгульной. Из-за неё и поплатился парнишка. Только подумать: сына ещё не схоронили, а мать её, почтариха наша, свою девку за руку к врачам потащила, захотела поскорее от ребёночка освободиться... А мне каково, Лёниной матери? Или мне прощенья у них просить, чтоб кровиночку на свете дожидаться? Вот вы человек городской, многое понимаете. Правильно всё это? Полюдски разве?

Эти её слова совсем запутали, просто перечеркнули всё, что уже будто сошлось в моей голове. Женщина тем временем встала с земли, шлепком ладони сбила с юбки пыль и иссохшие на солнцепёке былинки.

– Вы уж не обижайтесь на меня, даром отняла у вас время. Я, как посмотрю на его могилку, свет из глаз выкатывается. Поплакать бы надо, да слёз совсем нету...

Теперь, излив из себя все, что переполняло её изувеченную душу, Деменчиха отвернулась от меня. Значит, разговор продолжаться не будет. Я взял поставленное у ног ведро с водой. Оглянулся. Деменчиха ладонью гладила осыпающиеся края земляного холмика, обрезанного Марусьской три дня назад.

Вечер наступил неожиданно. С южного перевала на деревню скатывалась гроза. Изнуряющий жаркой духотой день не мог удовлетвориться банальной развязкой. Небо – всё, что было над горизонтом, – заполняла густая огненная лава, словно в наших местах заработал настоящий вулкан. Сполохи молний не ослабевали ни на миг, прорезая сизые туши облаков. Гремучая светящаяся громада обещала раздавить, сжечь и смыть всё живое на своём пути.

Я торопился закончить намеченные дела и поскорее отправиться в деревню. Принесённая мной вода теперь не понадобится, свежую землю, которой я уплотнил изъеденные сухью холмики, скоро всё равно размочит надвигающийся ливень.

В былые времена человек, раздавленный страхом перед взъярённой стихией, старался потонуть, раствориться в самом себе, исчезнуть на какое-то время из собственного сознания. Наверно, это ему помогало. Приобщение к цивилизации сделало человека более равнодушным к силам природы. Но тайное любопытство на грани страха в нем сохранилось.

Вдали, быстро приближаясь к крайним огородам, бесновался неуправляемый мир воды и электричества. Но здесь, среди памятников и крестов, было ещё спокойно. Рядом с кладбищем, в черёмуховых зарослях плавал беспечный щебет дневных пичуг. Деменчихи не было видно. Мне тоже не хотелось мокнуть под леденящим душем вечернего ливня и вдобавок хлопать подошвами сандалий по склизкой глине. Спрятав лопату в кустах, я прихватил ведро и побежал домой.

За три года в Африке я отвык от подобных ливней и гроз. Там меня преследовало другое средоточие непогоды – пыльные экваториальные бури, местные их называли «хабубами». Неожиданно ветер приносил крупнейший вал шириной в несколько километров, целую передвигающуюся гору песка. Цвет этой громады менялся от жёлтого, оранжевого до сиреневого, тёмно-синего – смотря на то, из какого песка состояла начинка хабуба, с какой стороны в это время располагалось солнце и, наконец, в какое время суток проходил этот земной шабаш – днём или вечером. Приезжие европейцы наглухо закрывали двери и окна, надевали на лицо специальные фильтрующие повязки из поролонa. Тот, кто по долгу службы оставался на улице, натягивал защитные очки. В спешном порядке крепили к земле лопасти наших двух вертолетов. Каждый раз откуда-то появлялись три облезлых верблюда. Они с решительным спокойствием жались к винтокрылым машинам, ложились на песчаную почву задом к надвигающемуся хабубу и лежали так, пока не закончится этот страшный суд пустыни...

Дядя Степан сидел в кухне, загодя придвинув к себе керосиновую лампу.

– Ты чё же, кум, ёк-маёк? Так всё здоровье порешить можно! – отчитал он меня. – Додумался: в такую погоду космачом... Ишь, как издрог весь... Щас бы в баньку тебя да на полоч, да пихтовым веничком... Токо кто знал заране. Вот и нет баньки у Ваньки...

– Нешто я знала, чем день закончится, – виновато подала голос из горницы тётка Анна.

Замечание мужа насчет бани она приняла как упрёк в свой адрес. В семье было заведено: банное хозяйство числилось за хозяйкой, дядя Степан только готовил дрова и носил из колодца воду. Ещё Василий привозил из леса ветки берёз, пихтовый и еловый лапник, всякий разноцвет, а дядя Степан вязал на две семьи души-

стые веники. Но поскольку дрова в предбаннике всегда были запасены впрок, а до колодца – рукой подать, то считалось, что дело только за малым – чиркнуть спичкой и ждать, когда ключом закипит вода в железном бачке, вмазанном в кирпичную печку...

В общем, как я ни спешил, как ни старался увернуться от грозы, она прихватила меня в сотне метров от дядино дома. От первых капель по телу прошла болезненная судорога – это так отвык я от настоящего дождя. Но когда на мне быстро промокла вся одежда, я вдруг почувствовал забытый восторг – передо мной будто распахнулось окно в далёкое детство.

Под защиту крыш бежали чёрные сгорбленные фигуры. Насыщенное водой пространство размывало очертания построек, деревьев и людей, и я почему-то представил, что к дому, который когда-то построил мой отец, бегут двое под брезентовым дождевиком – женщина и ребёнок, моя мама и я. Сейчас я весь был там, увлекаемый горячей рукой мамы. И не было у меня никакого другого желания, кроме как скорее вбежать с ней в домашнее тепло, прижаться к искрящейся в темноте шерстяной кофте и наслаждаться запахом маминого тела...

Дядя Степан, своевременно выложив мысли о пользе бани, глубоко вздохнул:

– Вот при огнях сидим. Лампа – великое дело. Ток-то в грозы у нас всегда выключают. Мало ли чё, ёк-маёк... В Красулине тем летом жажнуло громом по проводам – трансформаторную всю пожгло. Ладно, хоть людей не побилло. А провода в моток завернулись. Когда молния, значит, по проводам полоснула, у народа включённые лампы потрескались, а сколько холодильников да телевизоров попортило – не приведи Господь!

Помолчав после этого для значительности, он позвал жену из горницы:

– Выходи-ка до нас, кума, повечерим втроем – так-то веселей.

Вышла тётка, повела квадратным носиком, трепенула ручками-крылышками:

– Я ить, мужички, с утра чувство имела – быть непогоде. А как полежала, совсем руки отерпли. Скорей бы Бог дождь пронёс – там, должно быть, полегчает.

– Так он тебе и пронесёт! Жди, кулёма, своего Пахома... – положил кулаки на столешницу дядя Степан. – Вон какой хлещет заливной... Хорошо, хоть без града. И откуда, скажи, он? Хлеба на колосу стоят. Мокро им ноне в погибель...

Мы на Ивана-купателя с Василием под Белую Гриву ездили. Уж тогда какая пшеничка была! Любо-дорого! А то вот в Ясной Поляне года четыре назад...

– Чё ты все собираешь, Стёп? Оно уж давно прожито нами...

Дядя Степан пропустил слова жены мимо ушей, немного помедлил и, словно забыв начатую мысль, сказал тётке Анне:

– Ну-ка, хозяйка, угости гостя свеженькой картошечкой.

Тётка Анна накинула на столешницу клеёнку. Мы сидели, как в прежнее далекое время: дядя Степан, напротив – я, сбоку – тётка Анна. Семилинейная лампа, слегка потрескивая фитилём, рассеивала жёлтый свет с середины стола, с таким светом прошло всё моё ученье в Смирновке... Изредка около уха с тяжелым гудом пролетала заблудившаяся сонная муха.

На клеёнке лежали пружинистые стрелы батуна, чеснок – жемчужными сердечками, десяток пупырыштых огурцов с грядки, ломти серого хлеба. Против каждого из троих стояли кружки с молоком, а на самом видном месте возле лампы, в эмалированной чашке – дымящийся пригорок свежего картофеля, очищенного от кожуры.

38

Было видно и слышно, что дождь на улице попритих. Гроза сдвигалась к Чёрному озеру – там над головой леса горела смешавшаяся с небом туча. Меня скребануло при мысли, что мы с Василием могли оказаться один на один с этой небесной оргией, отправься на рыбалку не позавчера, а сегодня. Отсюда, из тёплого и тихого места слышно было, как в переполненные бочки по желобам стекает с крыши вода.

– Мухотвы ноне много! – пожаловалась тётка Анна. – В городах против её разную отраву продают, а в нашей лавке завсегда липучки одни. А кой от них толк? Деньги на выброс. Лучше в лесу мухоморного грибу набрать.

– Тут, африкан, тётка на все сто права! Настасья где-то по весне с району баночку железную отравы привозила. От мух, мол. Ну, думаю, мухотву всю под корень выведем. Нажал я на брызгалку у той баночки. А из ней, ёк-маёк, мне вонь пыльная по носу как шархнет, чомор ее подери! Я уж потом понял, что они придумали: керосин на газу... Надо ж, как дурыт народ! А это ведь всё наша копейка, ёк-маёк!

– Верно, верно, Стёп! – поддержала тётка Анна. – Душина от той заразы с неделю стояла.

Мы сами носа в доме не казали, а мухи всё одно налетали... Может, поменьше чуть. А всё одно мухи. Не соловьи.

Дядя Степан дослушал её слова, ухмыльнулся:

– А разобраться, так и муха – она кто? Поранешнему, насекомая. Ещё наш дедушка говорил: «Одна муха не проест брюха». Ежели, говорил, не морглив, – будешь поперёк толще...

Послышалось, как кто-то с улицы вошёл во двор, хлопнув калиткой. За окном, шлёпая по грязи крупным шагом, промелькнул силуэт женщины.

– Кого-то Господь несёт... – насторожилась тётка Анна.

– Свой, должно быть, человек. Может, Настасья, – зевнул дядя Степан, – а может, другой кто... Чужие у нас в такое время не шастают по дворам.

Слышно было, как у сеней женщина скинула с ног галоши, ступила на крыльцо, скрипнув отсыревшими половицами. Потом, отворив дверь, появилась внутри дома.

– Вечер вам добрый! Думала, при такой погоде спите, да вижу: в окне свет горит. Набралась духу, зашла...

– Аа-а, – прикрывая глаза ладонью от света лампы, протянул дядя Степан. – Сусанна! Ты чево, кума, в дверях встряла? В передний угол проходи.

Тётка Анна засуетилась:

– Молочко вот с картошечкой... Свеженькой подкопала. У меня скороспелки цельная сотка. Только вот вся ли доварилась...

– Ничё, мать! Горяче сыро не бывает, – успокоил хозяйку дядя Степан.

Сусанна села на табуретку почти у самого порога. Свет от лампы растопил черты её лица, оно воспринималось, как отражение в тусклом, желтоватом от времени зеркале. Застыла неловкая тишина. Все знали, что разговор вот-вот завяжется, но никто не подавал первого слова.

– Как там? Измочило, небось? – наконец нарушил молчание дядя Степан. Он тоже вглядывался в лицо гостьи.

– В огородах у картошки ботву на землю положило. У меня полная сарайка воды, крыша худая и починить некому... Из узла связи обещали старичка подослать. Жди его до белых мух... Надо самой кому-нибудь из наших на бутылку давать – это более надёжно, снизойдут, подлатают. У меня ж и материала своего нет – ни толя, ни рубероида. Об тесе да об железе уж помолчу.

Дядя Степан, похоже, больше других был рад начатому разговору.

– Тут ты права. Жестяничкое дело особое, оно не каждому дано. А крышу на живульку никак нельзя. Я, к примеру, по плотницкой части за всегда мог. Ну, разве ещё в пацанах катать пимы научен. А кровельными делами – ни-ни! Ни тинь-тилинь... Матьку надо Пшеничникова звать, он это дело в два счёта решит, да и лишнего с тебя не возьмет.

– Матвей теперь больше по гулянкам. Я как-то заикнулась ему про крышу, а он говорит, что годы уже не те... Мол, боится, что скатится. И весь разговор. Он без моей крыши в любой день сыт, пьян и нос в табаке...

Поговорили ещё. Об огородных делах, о жизни – время-то, ох, как идёт, не идёт, а бежит. Отдельно об осени: моргнуть не успеешь, а уже тепло загонять пора...

Старики знали, что Сусанна пришла ко мне по своему делу, мол, надо б поговорить с глазу на глаз, а тут столько народу. Сначала тётка Анна, за ней дядя Степан засобирались, выдумав какое-то заделье, чтоб оставить нас наедине. Сусанна решительно разрядила щекотливую обстановку:

– Я к вам ко всем по делу. Без всякого секрета – откуда он у меня? Так что прошу всех поприсутствовать в общем разговоре.

– Да мы ничё... – не показывая виду, но явно довольная тётка Анна подседа к мужу. – Знаем, поди, какие у тебя тайны... Опять с Маруськой беда?

– С кем же ещё? Из-за нее и пришла... – Сусанна повернула усталое лицо ко мне. – Наши деревенские тайны все на виду, как на ладошке. Их сдуть нельзя... Много грязи намазано, за век не оберешься. Уж не знаю, куда пойти, кому себя выложить... Нажила я, одним словом, позору со своей дочкой, с единственной...

– Ты, Сусанна, в душу много не набирай, не ты первая, не ты последняя! – вставил дядя Степан для пользы дела несколько слов.

Слова гостье давались с трудом. Сначала я подумал, что она совсем не волнуется, а говорит так, чтоб речь её была покрасивше, артистичней. Но вскоре увидел, что таким образом распавшаяся от пережитого душа женщины просто старается собраться воедино. Это похоже на то, как вокруг магнита собираются металлические пылинки: утери поле, притягивающее их, и эти частицы разойдутся, рассыплются серым бесформенным пятном.

Что было таким полем для Сусанны? Любовь к дочери, страх перед будущим одиночеством, суд людей или просто собственная неудача в любви? Этого я не знал. Но видел, что владевшая ею сила велика, Сусанна даже решилась прийти к чужим людям, раскрыть перед ними сокровенные мысли.

– Я уже много наслышан о вашей семейной истории, Сусанна, – попытался я выручить женщину из нагрывавшей лавины чувств.

Но она неожиданно насторожилась:

– Хоть и без умыслу, но люди могут наговорить, что угодно... Чужого человека кому жалко?

– Не знаю. Василий рассказывал... Про тебя и дочь ни одного худого слова...

– Ну, если Василий... – проступившее было недоверие к моим словам сошло с лица Сусанны. – Он человек правдивый.

Женщина даже вымучила из себя горькую улыбку:

– Есть люди, которым веришь, как себе. А есть просто языки... По-за мной всяко-разное говорят. А мне крыть нечем. Куда денешься, если святости ещё не нажила? Вот залетела Маруська, и на мне первая вина. На ком, как не на её матери? Только не все люди справедливы. Кому пень колотить – день проводить. Разбираться – не их забота. А я-то первая знаю, как загубила Маруська себе жизнь... Теперь вот получается: ни мужняя жена, ни полюбовница... Вдова без закону или ещё кто?

Смятение внутри Сусанны медленно, но заметно сходило на нет. Она придвинула свою табуретку ближе к столу, оказавшись почти на середине кухни.

– Ну, ладно. Я ведь зачем пришла? Не себя через сито сеять... – и тут обратилась прямо ко мне: – Ты, Сашок, много чего на свете повидал... Скажи, если знаешь, могут мою Марию с Леонидом Деменцовым по-законному расписать?

Я ответа не знал.

– Наверно, нет. Ведь Деменцова теперь...

– Да, его нет теперь. Но они ж оба хотели этого, – продолжила Сусанна. – Их заявление по сей день в ЗАГСе лежит. Мария была там недавно. Но ведь что думаете? Деменчиха и здесь успела подлянку устроить... Такое кадило раздула, что нормального слова в ответ не подберёшь. Если, мол, эту поганку с сыном додумаетесь расписать, собой лягу, но не допущу... Ничего, видать, не сделать. Там тоже люди сидят, себе хуже не пожелают... Вот скажи, Саша, мо-

жет, мне куда-нибудь ещё обратиться? Девчонка бабой становится, так хоть бы с Лёнькиной фамилией. Это ж не только мне надо, а в первую очередь ребёнку, если родится. А так, выходит, на что он?

Для меня было очевидно, что нельзя регистрировать брак с человеком, которого уже нет в живых. Хотя, с другой стороны, юридическая наука в виде исключения могла предусматривать и другие случаи. Чего не бывает на белом свете... Об этом я хотел сказать Сусанне. На словах же вышло иначе.

– А если, представь, в ЗАГСе даже разговаривать с тобой не станут на эту тему? Кроме того, имеются яростные возражения Лёнькиной матери. Значит, ничто не изменится ни у тебя, ни у твоей дочери... В любом случае надо идти к адвокату.

– Уж тут вы меня простите! – лицо Сусанны стало каменным, голос ожесточился. – Душа с телом расстанется, а чтоб Маруська мне в фартуке принесла, – этого я не допущу!

– И я про то же говорю! – оживилась тётка Анна, довольная тем, что настала и её минута утвердиться в пошатнувшейся было правоте. – Смотри, Стёпа, как оно поворачивается...

Хозяина дома слова Сусанны, вероятно, сильно задели, однако поначалу он сдержался. Но когда голос подала жена, дядя Степан выложил костистые кулаки на вид и, теряя самообладание, кивнул в сердцах в сторону гости:

– Ты погляди, какова она! Да она себя-то раз в год любит... Смотри, девка! Не в свой род пошла. Знал я и отца твоего, и деда, Суська. И всю вашу родню во втором и в третьем колене. Всякое бывало... Но такой птицы еще не было в породе Зарубиных... Маруська – она, да, зарубинская. Только до поры под твоим каблуком живет. Много нарядов, да мало доглядов! – И повернулся к жене: – А ты, Анна, опять не туда гнёшь!

Тётка Анна сникла было, сморщилась от досады, что муж при постороннем человеке выставил её так. Но всё же сдаваться без боя она не собиралась.

– Да ежели б одна я, Стёп... А то ж ить так полсела думает...

– А мне начхать на ту половину, где ты! – чуть не вскочил дядя Степан. – С Деменчихи горе не сошло, без ума ещё баба. А вы подыгрываете тёмной силе, ёк-маёк! Стыдобушка, девки!

Сусанна молчала. Дядя Степан тоже замолк, недовольно сопя. Тётка Анна виновато разглаживала складки своего фартука.

– Я с твоим, Суська, отцом Елпидифором Никитичем, то ись с Маруськиным дедом, вместе телят припасывать начинал, – решил все-таки высказаться до конца дядя Степан. – Кабы не война, он жил бы да жил ещё. Уж он-то как раз на другой от вас половине был, ёк-маёк. И на своём настоял бы... А ежели чё, то и в такую пору, Суська, ты б от него по широкой заднице схлопотала!

Отговорив эти слова, дядя Степан поднялся, давая понять, что его участие в бесполезном для него разговоре завершено.

Гостья выслушала дядину речь без возражений, даже как-то равнодушно. И когда он встал, не проронила ни слова. Только лицо её скривилось, будто повело его болезненной судорогой. Как девчонка, а не как женщина, которой вот-вот стукнет пятьдесят, Сусанна сначала шмыгнула носом, потом, всё чаще заглатывая воздух, заплакала на виду у всех.

Мне было искренне её жаль. Я же знал её с раннего детства. Но никогда раньше не видел на лице Сусанны слез. Это была сильная натурой женщина. Выходит, сегодняшний разговор вывернул её наизнанку.

– Я ведь Машке счастья хочу, – сквозь слёзы заговорила Сусанна. – По своей судьбе сравниваю: мой-то гад когда ушел, она уж девковать начинала, всё понимала... Сколько мытарств с ней хватила и дома, и в школе. Пересуды, шушуканья... А сколько укоров от неё получила за то, что не сумела семью удержать... Разве мне мало этого, дядя Степан?

Тётка Анна щипнула мужа в бок: сядь, мол, не видишь, что с человеком стало? Дядя Степан и впрямь сел на свое место. Потом выждал момент, когда, видно, голос придет в равновесие. И начал тоном уже более мягким:

– Ишь ты! Она – не она! Ты ж, Сусанка, баба толковая... Но понятливость – как уши на расторопку. И не ведаешь того: кто шептался по закоулкам, когда Колька ушёл от тебя, он сёдня тебя против дочки твоей подбивает... Ну, тётка Анна, скажешь, туда же – так ты не смотри ей в рот, она во все века такая поперешная. Только опосля становится умной – как курица, когда яйцо снесёт. Поверь моему слову, не мучай Маруську. Пусть она своей головой поживёт. И Деменчику больше не заводи – ей-то ваш ребёнок больше других нужен...

Нам троим было неизвестно, что думает в этот момент Сусанна. Согласилась ли она со словами хозяина дома или осталась при своём мнении. Но я хорошо видел, что в разговоре наступил перелом. Это уловила и тётка Анна. Умиряюще сказала:

– Ладно, уж. Наговорились досыту. Темень на улке, а мы всё полуночищаем. Завтра, коль надо, и договорим. Утро – оно вечера мудреней.

– Пойду я, – поднялась с табуретки Сусанна. Она вытирала косынкой уголки глаз. – Спасибо за разговор. Простите, что отняла время.

– Провожу тебя, – предложил я Сусанне, набрасывая себе на плечи дядин пиджак.

Мы вышли на крыльцо. Далеко на востоке всколыхивались беззвучные зарева уходящей грозы. Над деревней опустилось свежее небо с рассевом ярких и еле приметных точек. В Африке было другое небо – сухое, с совершенно другими звёздами. А здесь около земли стелился невидимый туман, смешанный с чисто деревенскими запахами растительного и животного мира. А ещё у кого-то топили баню, и оттуда от самой каменки, как ниточка из клубка пряжи, тянулась будоражащая ноздри банная пригарь.

Миновали калитку, медленно, осторожно пошли по улице, но всё равно то и дело наступали в лужи. В редких окнах горел неяркий свет от керосиновых ламп – все знали, что электричество включают только за полночь. Село, утомлённое дневным зноем и неожиданно нахлынувшим ливнем, можно сказать, уже спало.

– Ты извини нас, особенно дядю, – попытался я поддержать Сусанну, вкладывая в свои слова максимум дружелюбия.

– Вот ещё! – возразила она. – Это я, дура дурой, пошла к чужим людям плакаться, в спор всех ввела. Не было ума и не будет... Это вам всем спасибо! По-хорошему, меня надо было сразу за порог выставить...

– Ну, что ты? Разве никакой пользы не было от разговора?

– Пользы?.. Видно, твой дядя прав. Наплакалась я от чистого сердца и саму себя почувствовала. Светлей в голове стало, что ли... Так что твои старики оба правы. Ты, Александр, не забывай их. Пока по своим границам ездил, они извелись все – как ты да чего с тобой. Тётя Аня, бывало, забежит ко мне. То да сё, а напослед всё равно не вытерпит, обмолвится: «Ладно ли у него там? Дикие места ведь...»

По Сусанне было видно, что ей не хотелось расставаться. Она пыталась завязать новую тему разговора, но не могла ухватить её главный стержень. Мы прошли мимо почты, оставили позади магазин, где когда-то она начинала работать со своим Николашей.

Рядом со мной шла одинокая женщина, ждущая от меня поддержки, а я всё никак не мог отыскать в себе слов, способных воодушевить её. Мои мысли кружились около Маруськи и Лёньки – людей, мне совсем не знакомых. Возможно, когда-то я встречал их на одной из деревенских улиц, может быть, даже здесь, на этом самом месте... Да что с того, видел я их или не видел. Оба они стали для меня одной болезненно щемящей раной. Коростой на ней лежали чужие кривотолки и мои домыслы. Я с радостью освободился бы от них. Поэтому решился на крайний шаг – задать прямой вопрос, хотя, возможно, и не имел на это права.

– Скажи, Сусанна, у Лёньки Деменцова с тобой дочерью действительно любовь была? Или, может, просто...

– Вот и дождалась! – вспыхнул голос Сусанны. – Я, думаешь, если мать, так только поэтому защищаю свою дочку? Не совру: почудила Маруська. Глаза да глазоньки за ней были нужны. Попала, называется, в чёрную полосу. Со стороны думают: каков плетень, такова и от него тень. Отец гулять начал. Ну, мол, и дочка такая ж. А она ещё назло мне да Кольке подыгрывать стала, парням многим в сердце легла, да никому не досталась. Вот, может, злоба оттуда. Как на духу говорю: не одобряла я её выбор. Но по себе знаю: сильнее сердца в человеке нет ничего. Разум – это как подпорка у телеграфного столба... Леонид и без меня знал, что он у неё первый и единственный, оттого и от матери отбилась. Не смог смириться с её каждодневными упреками и наговорами. В общем, верь мне или не верь, а другой правды у меня нету...

Минут через двадцать мы вернулись к почте. Света в окнах уже не было.

– Ждала, ждала меня, да и уснула, – сказала о дочери Сусанна. – Пусть поспит. Она всех будущих забот ещё не знает. Дитё для меня, хоть и сама мамкой будет скоро.

Когда я подошёл к своему дому, тихая ночь всюю владычествовала над миром. Теперь уже не доходил сюда свет зарниц укатившейся грозы. Где-то в кустах или в конце огорода обреченно запищала полёвка. Вышла полакомиться,

да не доглядела: попала сама на ночное угощение сове или бродячей кошке. Оказывается, мир спит всего лишь наполовину. И у бодрствующей половины продолжают свершаться свои земные трагедии...

Раннее утро пришло ко мне при странных обстоятельствах. Я услышал резкий голос с улицы:

– Эй, эй, тётка Анна! Новость не слыхала?

– Чево? – отозвался хрипловытый ото сна теткин голос.

– Иди-кась сюда!

Тётка Анна прошлёпала по сырой земле, остановилась в палисаднике под окном, у которого стояла моя кровать. Ночью, проводив Сусанну и ложась спать, я распахнул обе оконные створки. Поэтому разговор незнакомки с тёткой Анной продолжался прямо над моей головой.

– Чево кричишь, Катерина? Мужики мои не встали ещё, разбудишь своим голосищем... – снизив тон, отчитала гостью тётка Анна.

– Да будет тебе, – тише ответила Катерина. – Мужики в такой час спят впросон, не услышат они, хоть в пушку пали... Я тебе вот про чё скажу: ночью-то к Суське знаешь, кто явился? Ни за что ни про что не догадаешься!

Во мне колыхнулась тревога: неужели и я вляпался со своими проводами?

– Не Колька ли?

– Он, тётка Анна! Он! Этот дурак без подмеса... Ой, что там было! Я первая всё видела!

– Ну, мать честна, умом тронешься. Одно по одному, одно по одному. Сусанка-то у нас с вечера сидела. Саня уж потемну её провожал до ворот. Вроде никого ещё не было...

– Был, был уже. Наверно, за сараем хоронился. До дождя ещё он в деревню попал. Я чё-то проснулась, смотрю: светать начало. Ну, думаю, на улку сбегаю. С крыльца-то только до земли сошла, как в почтовой ограде говорок слышу: бу-бу-бу...

– А ты?

– Ну, чё я? Я к заплоту, щёлка там у нас подходявая. Глаза продрала: Бог ты мой! Он, Колька собственной персоной. На чурбак уселся, папирску смолит. А рядом Суська стоит в одной рубашонке. И меж ними говорок...

– Ай-ай-ай! Да я б на её месте вальком его б по башке. Надо ж было так бабу ославить!

– Она ему говорит: «Я-то чево? Я и простить могу. Живи, если одумался. Корёного куса у меня не увидишь... Да вот дочь как посмотрит?

Ты ей всю жизнь переломал со своей шалашовкой!» Она, grit, с тобой в жизнь рядом не сядет, папаша...

– И я б так, – поддакнула тётка Анна. – Гнать его надо в толчки, паскудника. А то хватят они с этаким пакостником мурцовки...

– Ты, тётка Анна, не торопись, не в баню! Слушай, чево я тебе расскажу. Смотрю я, замёрзла босиком, уходить было собралась. А они никуда не торопятся. И нате вам: туточки Маруська на пороге застыла – белая, как смерть. Губёнки набутусила и на мать, значит, на Суську: зырк, зырк. Думаю, заорёт сейчас голосом. Ай, нет! Сдержалась девка. Ровно так, будто по складам говорит матери, а на отца даже взгляда не держит. Ты, говорит, как хочешь, а я, говорит, как знаю. Ещё раз впустишь этого проходимца во двор – меня тут больше не увидишь.

– Сердце предчувствовало: не кончится это добром!

– Не говори! И куда оно всё катится?..

– Колька-то где сейчас? – любопытствовала тетка Анна.

– Леший его знает. Я вскорости измёрзлась вся. В дом воротилась. А сон ни к одному глазу. Пыль в избе смахнула, хлеб завела... Когда в окошко глянула – никого нет. Может, к себе его Суська запустила, а может, с Богом выпроводила... Этого никак не скажу.

Катерина заторопилась – новости у неё иссякли.

– Ну, иди, иди, – шепнула ей напоследок заговорщически тётка Анна. – А то, не дай Бог, поднимешь моих мужичков.

Вот так и вышло, что я одним из первых оказался вовлечён в события стремительно развивающейся драмы. Лёжа с закрытыми глазами, представил, как перевернулось Сусаннино сердце с возвращением беглого мужа, и какой протест против отца возник у их дочери...

Из комнаты, где спали хозяева, шаркая задубелыми пятками по половикам, вышел дядя Степан.

– Не спишь, Санёк? Меня тоже Катерина разбудила. Родимец её бей...

Я приподнялся, упершись локтем в подушку. Объявил дяде о слышанной новости.

– А куда Кольке деваться? Поблудил – хватит. Такие в чужих домах не приживаются. Он же к молодухе не хозяйство вести шёл. И не домашность наживать. Нет, ёк-маёк... Или он всю жизнь ей украшеньем хотел прожить? Нет, такого, брат,

не бывает. Мужу за пятьдесят перевалило, волосья высыпаются, да и стать не та... Вот и задумал Колька вернуться к пристанищу. Ежели не выставили его, то за Суську до гроба будет держаться. Это, конечно, при условии, што она его примет. Всё дело в ней теперь: пустит – около неё и век свекует... А так куда Кольке деться?

– Дочь у них клином стала. Отца не желает прощать...

– Да, Маруська – девка жестковата. С настыром человек – и у быка молока выпросит. Всё может быть... Коли пойдёт Сусанка Кольке навстречу, точно, Маруська поперёк дороги ляжет. И не сдвинется... Эх, и што за люди такие пошли, себе всё во вред да во вред! А ведь мы друг дружке больше прощать должны.

Открылась наружная дверь, вошла тётка Анна.

– Здра-а-асте вам! – сказала она с протягом, видимо, удивившись нашему преждевременному бодрствованию. – Не в лес ли собрались? Аль ещё куда? Кругом сырость такущая! Не ране, как токо к обеду подветрит.

Тут она внимательно посмотрела сначала на меня, потом на мужа:

– Небось, про новость слышали? Сорока принесла...

– Слыхивали, слыхивали, – ухмыльнулся дядя Степан. – Не за горами живём. Весь дом с Катериной подняли в такую рань. Эко диво нашли!

В голосе его звучала укоризна. Тётка Анна почувствовала на себе вину.

– А я к Насте успела сбежать, молочка парного принесла вам. Раз уж проснулись, выпейте по стаканчику. Можно и с хлебушком. Щас такого добра нигде не найдёшь. По городам чё попало продают. Водой разбавляют, на цидофилины разные молочко переводят. Оттого люди здоровьем маются... А у нас тут – хоть от одного воздуха тело наводи! Федька Егошин по весне жинку из города привёз. Квёлая вся на вид. Доктора бы, наверно, такую и лечить не взялись. Ну, значит, привёз Федька бабу не для показа, а для поправки. У Егошиных дом окнами на солнце. Выйдет она в своём платье под окошко, ни кровиночки в ней. Федька рядом с ней, не даёт на нее ветру дунуть, а она-то еле-еле ротом шевелит... Ну, значит, посоветовали им у Насти молоко брать. Коровка, правда, не ведёрница, зато голимые сливки, по всей деревне такого молока не сыщешь. А еще Федькин отец, свёкор то ись,

за неделю по два раза баньку протапливал. Как же не стопить – сноха единственная. Егошиха сведёт её туда, попарит в настойной воде. Сам-то Егосин мастак веники делать. Он туда и берёзовый прут, и хвойную лапку, и мяту с крапивкой, и стебелёчки ромашки вплетает. Таким веничком только разок ударь – помирать не захочешь...

Я помнил, что баня для тётки Анны – слабая струна. Ещё в давние времена ходили у нас байки о тёткиной выносливости. Любила она попариться так, что не было ей равных среди деревенских женщин. Да что там женщины! Дядя Степан – и тот не выдюживал. Бывало, пока она хлещет себя веником, он раза два выскочит в предбанник и ждёт, пока жена покинет полук.

– Так вот, значит, Егошиха в баньку меду свежего с пасеки принесет, трав всяких... Настои давала, отвары. Снохе это больно пользительно было. И что думаешь? Я те дам баба стала! Ладная да пригожая... И у Федьки самого около неё бока заворотились... Федьку-то, Сань, помнишь? Такой завсегда зачуханный был. А щас – куда там... Начальником на стеклозаводе.

И вдруг словно споткнулась о слово тётка Анна, остановилась в разговоре, что-то вспомнила.

– Да ведь совсем забыла сказать... У почты Кольку Лихачёва видела. На скамейке сидит, папиросы смолит. Поздоровкались с ним. С приездом, говорю, Николай Батькович! А он, как мозглого молока объелся, губы отквасил, только глазами мырг-мырг. «Тётка Анна, – говорит, – а будь она, жизнь! Родная дочка на порог не пустила». Я возьми и спроси: «А ты, Коленька, баб-то всех, поди, обогрел, или еще где остались?» Так нет: опять не по губе пришлось. Вишь ты, не пондравилось... Сидит, завернул голову и дымище от себя... Ну, и сиди, сиди. И будешь сидеть... Ни в честь, ни в славу божью...

Дядя Степан пошёл умываться. По пути сказал, не повернув голову:

– Зря ты, Анна. Ни с чего полезла на Кольку. Сами разберутся. Может, ещё об ручку здороваться будете. А ты так...

– Нет уж, сам с ним об ручку! – озлилась тётка Анна и подалась к себе в комнату, дав понять, что разговору конец и последнего слова она никому не уступит.

После завтрака мы с дядей Степаном пошли в огород. Земля была влажная, но уже не сырая. Только в макушках капустных завитков да в лож-

бинках картофельных листьев сохранились капельки дождевой воды.

– Эх-ма! – повел рукой дядя Степан. – Сколько работы через руки за жизнь проходит... Сколько трудов чужак-человек вкладывает. Вот она, земля. Ково ей вроде надо? Ан нет, кума... Семь потов потеряешь, пока угоишь её, матушку... Мы с тёткой, бывает, днями тут днюём, до заморозу пучкаемся в грязи. Пока живы – под себя тащим, а умрём – ничего не надо... Больно странно всё построено, ёк-маёк.

Мы медленно переступали по ровным бороздкам, останавливались около ухоженных гряд. Дядя Степан изредка наклонялся, вырывал сорную травинку, долго мял её в пальцах и брезгливо бросал себе под ноги.

– Живём хорошо, Сань. Куда с добром! Только б войны не было. Скажу тебе: народ никогда так не жил. Походи по дворам, сам увидишь: скот, домашность ладная, у других моциклеты да машинёшки разные. Лето, правда, сейчас – мы больше на квасишко налегаем, на зелень, а мяско уж зимой... Оно так и должно быть. Из веков ведётся. Дедушка наш, помню, пугал нас, ребетёшек, ежели летом про мясо поминали: от него в жару, мол, переверт кишков будет, ёк-маёк...

Дядя Степан помолчал и закончил так:

– Всё хорошо. Ещё б здоровьишко было. Своей силой намного надёжней жить. Я по молодости думал: мне износу не будет. Теперь, замечаю, вершину свою миновал, сомненья грызть порой начинают...

Со двора нас окликнула тётка Анна:

– Эй, ребятки! Телеграммка тут.

Мы поспешили на зов хозяйки. Она держала голубой телеграфный бланк, пересеченный фиолетовыми строчками.

– Кажись, Саня, тебе.

Из главка сообщали о переводе меня на новое место работы и просили срочно прибыть в Москву. Я знал, что в верхах решается вопрос о моём повышении, но не думал, что это будет так быстро.

– Вот и отдохнул... – произнёс я и увидел, как враз одинаково потускнели лица моих милых стариков. Мне самому, если честно, почти до слёз было жаль, что долгожданный и только начавшийся отдых прерывается так беспардонно. Ближайшие планы развеялись, как ворох красивых фантиков, попавших в струю набежавшего ветра.

– Што, обратно в дорогу? – нашёл в себе силы дядя Степан. – Как же так? Никого не отдох-

нул. Один сумбур... Не порыбалили по-людски, на пасеке не побывали. А грузочки у Кривой пади? Придётся ли ещё когда поломать их? Эх, знать бы – разве б так всё обставили...

В глазах тётки Анны застыли крупные капли – будто ливень только что прошёл по ее лицу. Я молчал. Мысли крутились лихорадочно. Рассыпанный ворох цветных бумажек уже не имел никакого значения. Надо мной довлели вещи, что превыше сиюминутных чувств, любых желаний и интересов...

– Хоть не сёдня едешь, а? – с заметной болью спросила тётка Анна. – Так, сполохом, нельзя!

– Нет, завтра. С утра. Только пораньше.

Мои слова немножко успокоили стариков.

– Ладно. Тогда собирайся, африкан, – распорядился дядя Степан. – К вечеру опять люди соберутся, там тебе не до сборов...

Я хорошо знал здешнюю традицию: отмечать встречи и проводы большими застольями. А в промежутках между ними обязательное посещение родственников, само собой, тоже с выпивкой и угощением. И никто не мог нарушить эти обычаи. В каждый приезд мне суждено было отсидеть положенные часы в доме у Василия и Насти, у тётки Феши, у Яши с Варварой, у деда Михайла и других родственников. И большим грехом считалось отказаться от того, что выставлялось на стол. А на столе помимо еды – целая батарея бутылок с блескучей жидкостью. Как правило, самогона. Но угнетало даже не столько количество спиртного на столе и в хозяйской заначке (там всегда береглись стратегические запасы этого добра), сколько принуждение пить за здоровье, за счастье, за благополучие, за встречу и за отъезд – за всё, что шло обычным чередом и часто не зависело от наших пожеланий. Не выпить – значило не уважить, возгордиться, схитрить. Отказ от выставленной чарки под любым предлогом расценивался как удар гостя по чести хозяина дома... Мне, уже втянувшемуся в новый городской мир и быт, эти давнишние правила становились поперёк горла. Я по разным причинам старался избегать обременительных обходов и встреч. Но как бы ни ссылался на холецистит, на гипертонию и прочие болячки, присущие почти всему живущему человечеству, сложившаяся традиция в конце концов побеждала. Все мои доводы пресекались простыми словами:

– Поди оно к чомору! Голову не ломай, не хочешь – пей не по всей! Ещё нальют... Последняя

у попа жена... А не пьёт, Сашок, тот, у кого своей дури хватает.

Логика для такого случая была железная. Ну, просто убийственная!..

Собирать мне в дорогу было нечего. Налегке прибыл, назад и того проще. Я решил в последний раз перед отъездом пройтись по деревне, время было в самый раз – ещё не нахлынула душотная жара.

Солнце играло над тайгой, медленно вливая в середину безоблачного голубого неба. Тёплый свет ложился на коричневые срубы домов, на чёрные от влаги тесовые крыши, на серые, будто опухшие за ночь, изгороди. А среди них и за ними вокруг переливалась на все лады зелень огородной муравы и подступившего к селу леса.

Навстречу мне попадались люди, в большинстве которых я узнавал давних знакомых. Мы останавливались, здоровались, разговоры могли бы затянуться надолго, но я ссылался на срочный отъезд, и мы вскоре прощались. У почты меня окликнула Сусанна.

– Получил телеграмму?

– Спасибо! Завтра отчаливаю...

Я вздумал было подойти к ней, но понял, что сейчас никакого разговора не получится. У неё без меня круто замешана своя беда и радость. Человеку со стороны там делать нечего.

– Ну, счастливо тебе! Не забывай нас!

От этих слов на душе стало беспокойно и известно – будто только я один был в ответе за всё, что происходит в моём селе. Неожиданно вспомнилось, что в первый год, как я уехал отсюда, на обратной стороне конвертов со своими письмами в адрес дяди Степана всегда озорливо дописывал одну и ту же фразу: «Как по закону, привет почтальону!» Письмоносицей у нас тогда работала одинокая с войны женщина, тётка Шура, человек тихий и безвредный, но со своими странностями, за глаза её почему-то звали «Шура веники ломала». Я писал крылатую фразу о приветке, надеясь, что тётка Шура вдруг улыбнется, увидев мои неизменные слова, раскинутые по краям конверта. И ведь случилось! В первый же Новый год на африканской земле я получил из Смирновки письмо в конверте, на котором рукой Шуры было выведено: «Ждём ответа, как соловей лета!» Позже я узнал, что одинокая Шура весной наступившего года угорела в своей избёнке, и её схоронили в соседней деревне, где доживали век остальные родственники.

У двора Василия увидел сестру – она выпроваживала из ограды двух подсвинок.

– Уезжаю, Настя... Телеграмма пришла.

– Знаем уже. Василий сказывал. Сам-то в школу поковылял. Начальство у них должно из области приехать. А я вот на минутку заскочила и опять назад. Вечером освобожусь – прикандыбаем оба.

Повстречалась Стеша.

– Чё-то не показываешься, дружок! Родню поперезабыл? – она взяла меня за руку чуть ниже локтя. – И опять летишь... Надолго ль теперь от нас?

– Ну, все в курсе моих забот! – восхитился я местной осведомлённостью.

– Да ну тебя! Это вы, городские, попрятались друг от дружки. А у нас тут нет каменных стенок. Мы все на ладошке. Потому и секретов никаких не держим.

Слово за слово, вопрос – ответ. Так и просто-ял я со Стешей минут пятнадцать. Озорные мысли метались в её глазах. Было видно: не давала покоя красивой женщине наша давняя сумбурная встреча в её ограде... Скажи сейчас ей ласковое слово, пригласи куда-нибудь за околицу, – вмиг бы растопилась и безоглядно полетела туда, отбросив всё на свете...

Когда начали прощаться, услышали из переулка надсадный женский вскрик – такое мне запомнилось с тех лет, когда в Смирновку приходили похороны с фронта.

– Опять Деменчиха, – определила Стеша. – Ты, небось, слышал, что у неё стряслось.

– Знаю, знаю...

– Слышать мог, а знать – не уверена. Кто-то говорит, кто-то молчит... Люди – что мурашиная куча. Послушаешь: на разговоры все хороши, а вглубь копни... Мне вот Деменчиху до смерти жалко. Сына баба потеряла. А Маруся к чему ей? С какого боку – ни сноха, ни падчерица...

Снова меж домов вспыхнул, как пламя, и внезапно погас безумный женский вскрик. Там, за оградой, разворачивалось какое-то продолжение трагической деревенской истории.

– Сороковина сегодня – вон что, – вспомнила Стеша. – С ума сходит баба.

Какая-то женщина скорым шагом вышла из двора Деменцовых и, закрыв калитку, исчезла за углом кособокого сенника. Мы со Стешей распрощались. Я повернул к своему дому. Препного шума за спиной больше не было. Но чувство наступившего успокоения оказалось обманчивым

и не продлилось долго. В моём любимом селе не прекращалась бескровная война между нашими и... тоже нашими. По-иному такое противостояние определить я не мог.

Ближе к вечеру подъехал Василий, минут через десять появилась Настасья. Сестра протянула мне свёрток в газетной бумаге:

– На дорожку. А то мало ли где застрянешь. Голод не тётка...

– Зачем? Сейчас кругом столовые, закусовые, кафе... Ресторан на худой случай...

– Ничё, ничё! – осадила меня тётка Анна. – Дорого, да мило, дешёво, да гнило. А рестораны – они точно на худой случай. Токо животом после них маяться...

Василий кашлянул, вроде как крякнул, подавая знак Насте, чтоб не напирала на меня со своими советами. Мол, не маленький. Настя намёк мужа приняла к сведению, но тут же отмахнулась:

– Не подкашливай, не богатую любишь... А ты, братик, не смотри на него. С природы он плохой в житье. Всё в нем мечты какие-то, фантазии разные. С них сыт не будешь...

Пришли сразу четверо: тётя Феша с мужем Игнатием и брательник Яша с сынишкой.

– Ну, слава Богу: переворошили сено, теперь высохнет, – как бы здороваясь и одновременно докладывая о проделанных делах, сказала тётя Феша.

Дядя Игнатий сел на чурбак около поленницы, вытащил из брючного кармана пачку «Астры». Был он человеком малоразговорчивым, почти бессловесным: нашёл – молчит, потерял – молчит. Но с тётей Фешей жил в одно сердце. Яша тоже задымил, достав свои сигаретки, с фильтром. Яшин сын, вылитая мать Варвара, тёрся около отцовых штанов, тихонько канючил, что-то выпрашивая.

– Кому сказано: не кусочничай! – покосился Яша на отпрыска. – Сядешь за стол – там и поешь. Токо не жадничай!

– Чево ты так с ребенком? – посмотрела на племянника тётка Анна и протянула мальчику пирожок со щавелем. – Дитё ить... И мамка, наверно, к бабушке понеслась? Как там Селивановна? Не лучше?

– Хвораёт мать. Кое-как душа на ниточке варится. Ненадёжная она у нас на житьё.

Варварина мать всю жизнь проработала на току, потом в зерносушилке. Трудилась на ветру да на сквозняках, себя не жалела. И вот в старо-

сти стала мучаться Селивановна с поясницей, потом с суставами. Зимой, говорят, совсем слегла... А по весне ей прямо в постель привезли из района дорогую награду – медаль с изображением Ильича.

– Вы б её в Калашниково свозили, есть там одна бабка. Кому животы, кому спины правит... – подсказала тётка Анна.

– Какая ей теперь бабка? В больнице два месяца отлежала – не помогло. Придётся по осени в город везти, а то ноги, как два карандаша торчат...

Посидели ещё – кто где нашёл себе место. Разговоры вели случайные и обрывками: о том да о сём. Будто никто никуда не уезжает и никто никого не собирает провожать... Прибежала в запыхах Варвара:

– Фу, я уж думала, что все разошлись...

– Поперву скажи, как мать-то? – отчитала её тётка Анна.

– Не лучше, не хуже... Правда, маленько сама встаёт, а то без посторонней руки никак... Меня нонечь к вам вытолкала.

– Ну, тогда ничего! В мамке, Варь, живая руда ещё играет. Поживёт, дай Бог, Селивановна.

– Дал бы, дал бы, – с надеждой ответила Варвара.

На этот раз во дворе у дяди Степана собралось не больше пятнадцати человек. Но и в этом случае сложившийся порядок встреч и расставаний будет соблюден: родня посидит за столом, попотчует тем, что сумела сготовить к этому часу хозяйка.

Хозяин пригласил всех пройти в дом.

В горнице оказалось тесно, но все, хоть и вприжимку, расселись. Василий налил женщинам домашнего винца, мужчинам – водки. До донышка выпил только один Яша.

– Стеша обидится, не позвали, – заметила Настасья.

– Пускай обижается... – хмыкнула тётка Анна. – Губа толще – брюхо тоньше. Все одинаково званы.

А у меня никак не укладывалось в голове, как она опять сумела наготовить еды на такую ораву, имея к тому же ограниченный запас времени.

– Ешьте, гостинечки дорогие! – сдобривала тётка Анна словами своё угощенье. – Я принесу ещё...

– Как её, родимую, в такую жару пьют? – показала на раскупоренную бутылку с водкой тётка Феша. И добавила: – Особливо партийные...

Яша бросил на неё торжествующий взгляд знатока:

– Как-как? Ртом и пьют, тётя Федосья! Все так пьют. И народ, и мы, которые в нашей партии. Ты же слыхала: народ и партия едины!

Василий глянул на Яшу с ухмылкой:

– Да только разны магазины...

После этого Василий заговорил о предстоящей зиме. Сообщил, что коль лето стоит жаркое и дождливое, то зима будет холодной и без снегу. Значит, помёрзнет земля и озимь, а дикой скотине будет одна погибель. Но большинство уже не слушало его мрачных прогнозов.

Дядя Степан медленными глотками отпивал квас, кивнул тётке Феше:

– Чего там Деменчиха опять закатила нонечь?

– И в самом деле, ничо не слыхивали? – удивилась тётя Феша.

– Я же не маршал Жуков, Федосья. Мне никто докладывать не обязан. Чево скажут – про то и знаю...

– Так вот: Маруська у Деменчихи перед обедом была!

– Да ну? – замерла на пороге тетка Анна. Мгновенно, словно стрелка у сломавшихся часов. – И какой леший повёл её к ней?

Дядя Степан даже привстал, поморщился:

– Да-а... Не накопила девка, видать, ума. Это ж на какой скандалище полезла... – и сел обратно на свою табуретку, полоснув воздух кистью здоровой руки.

Тётя Феша перехватила разочарованный взгляд двоюродного брата.

– Нет, Стёпа, не то там было, как ты мыслишь. Маруська из своо дому насовсем ушла. Не больно много она о себе думает. Матери дорогу очистила. Та-то, дурочка, Кольке весь блуд простила. А Маруське такой отец и на дух не нужен. Вот и пошла девка к Деменчихе сдаваться или уж – как понимай. Татьяну Туполеву упростила пойти с собой, одной с животом боязливо и несподручно...

Вот, оказывается, кто, Татьяна Туполева, племянница главного агронома, закрывала калитку во дворе Деменчихи, когда мы со Стешей стояли на улице. Татьяну я помнил смутно, жила она раньше на отшибе, муж её охотничал и лесничил. Уже после моего отъезда перебрались Туполевы в деревню, ближе к народу, поселились недалеко от почты.

Значит, ревела сегодня Деменчиха не по случаю Лёнькиной сороковины. Мда...

– И что у них? – засветилась в любопытстве Варвара. – Кто перед кем круги крутил?

– Да ты чё, Варя! Как раз никто. Кончилось куда с добром, – тётя Феша, почувствовав к себе всеобщий интерес, перевела дыхание. – Значит, скажу всё по порядку. Сначала к Деменчихе зашла Танька. Издалека, конечно, разговор повела, а потом не сдержалась и выложила Деменчихе всё, как есть. Так, мол, и так: Маруся приняла бесповоротное решение рожать от Лёньки младенца, а от родителей непутёвых совсем надумала уйти. Да некуда. Один теперь путь у нее отступить – к свекрови своей. И ждать, когда дитё появится... Ну, значит, как токо Танька объявила про Марусякино решение, Деменчиха побелела вся, будто цвет картофельный, и в крик: «Чё же делать мне? Как теперь в глаза девке смотреть?» А Танька – та баба подкованная в разных делах, напирает. Примай, говорит, бабка, человека с сыновым дитём... Тут к сеням и сама Марусяка подросла, зуб на зуб не попадает, трясёт всю – вдруг не покусится Деменчиха на кулаки... А та сама кое-как выскреблась на крыльцо да под Марусякины ноги и повалилась. Чудо чудное просто... Воздуху заглотила баба и взвыла с причетами. Девка-то перепугалась поперву, не знает, как быть, да тут Танька опять к месту пришлась. Тянет Деменчиху к себе, а та, Бог ты мой, ухватилась за Марусякины ноги и обцеловывает их: «Ой, деточка моя! Прости меня, грешницу!» Долго ещё они возились возле дома. В общем, осталась Марусяка под крышей у своей свекрови... Вот так-то!

Едва тётя Феша произнесла последнее слово, над столом проплыл хрипловатый голос Василия:

– Ну, люди, и поворот-разворот... Вот это эпоха!

Многие другие о событиях на деменчихинском подворье высказались в том же духе. Да, дескать, неожиданность. А тётка Анна поспешила уважить мужа:

– Ишь, Стёп, всё как устроилось. Может, и взаправду Марусяка легла в душу Деменчихе... Ну, и что ж, что без венца. В наши годы тоже всяко бывало: и такое, и бегом девки из дому уходили. Хужей, когда силком тебя отдадут да без любви...

– Хороша ты языком ляскать! – упрекнул жену дядя Степан. – Раньше надо было в оба глядеть. А шас все умные... Люди друг дружке души

поискалечили... Какого парня лишились!.. Эх, вы! Бабы называется!

Дядя Степан говорил ровно, уверенно, будто из кирпичиков обкладывал себя оборонительной стенкой.

– Хватит ещё Марусяка горького до слёз. И Деменчихе несладко будет, – высказала предположение тётя Феша.

Дядя Степан вроде поддержал сестру, но в сказанных им словах сквозило осевшее недовольство:

– А как же ты думала? Што старики говаривали? Тайга – кого выручит, а кого и выучит... Разве не так, кума?

На этот раз гости долго не сидели. Чуть начало темнеть, стали прощаться. Василий пообещал подъехать к моему утреннему отъезду.

Наскоро убрали со стола. Всё, что было не съедено, отнесли в погреб.

– Народ пошёл сытый, – чуть ли не с обидой на гостей пожаловалась тётка Анна, – у всех всего есть-переесть. Хоть Матку Пшеничникову зови. Тот уж как сядет – за семерых умнет!

– Это хорошо, мать, что народ сытый, – ответил дядя Степан. – Все своими домами живут, трудники. Друг дружке в рот не заглядывают... Сытый народ – он не бывает злым. А Матвей один такой на еду. Не в удачу человеку жизнь пошла. Што поделатъ?

Наконец, мы разошлись по кроватям. Но ещё больше часа в темноте кружился разговор о том, что собирался я сделать за свой отпуск. Пообещал наверстать всё в следующий приезд. Спрашивали старики и о моей предстоящей жизни: где, кем, трудно ли и так далее. А что я мог им сказать, если вся моя предыдущая жизнь была кочевой, непланируемой? Таков уж удел моей профессии. Я и сейчас не знал, когда снова смогу попасть в родные края. Только, дай Бог, чтоб не по худому случаю...

Договорились, что часов в пять встанем, и я пойду до большака один. Тётка Анна вспомнила: по утрам будто бы уходят от конторы в райцентр колхозные машины.

– А чё? Езжай с одной из них, бывают и лежковушки. Тебе не должны отказать.

– Не надо. Я своей дорожкой... К отцу с мамой зайду. Там около них в акации лопата. При случае заберите.

– Пуцай на месте остается. Здесь все свои, деревенские. Мы её положили, мы и возьмём.

Другой никто не позарится... Ладно, спи, африкан! – сказал в темноте дядя Степан.

Я сомкнул веки. Но сна не было: возвращаясь к недавнему прошлому, перескакивал в неясное будущее... На этом, кажется, задремал. Однако сон получился крепким, сквозь него ко мне не смогли втиснуться никакие видения. Проснулся рывком, неожиданно, как и заснул. Никто меня не будил, просто внутри сработал безотказный механизм, который заводится на нужное время. Так бывает у всегда занятых и спешащих людей.

Вскоре послышалось знакомое тарыхтенье, около дома остановилась машина – подъехал Василий.

– Проснулся гость?

Я показал голову через распахнутое окно, поздоровался, доложил, что сейчас встану и буду готов. Было слышно, как Василий излагал дяде Степану:

– Вечор Настя договорилась насчёт машины. У Пантелеевых ночует леспромхозовский грузовик. Ребята подбросят прямо до автовокзала.

– Он, Вася, по-своему рассудил, – сказал дядя Степан. – Пешком до большака, через могилки. А там на попутке.

– Ну, смотрите, как лучше. Дело хозяйское.

Мой утренний сбор вышел скорым. Сели вместе с Василием за стол. Тётка Анна налила свежего молока (опять постаралась Настасья). Поставила тарелку с варёными яйцами, наложила поджаристых со сковородки оладышков.

– Может, в Москве жить будете? – заикнулся Василий.

– Не знаю. Всё может быть. И за границей ещё придется поработать, только не знаю, где. Наши ребята и в Индии, и в Чили, и на Кубе. Где наводнения и засухи – там и моя работа. А квартира... Пока, знаешь, бездомные. Хорошо, что тёща приютила любимую дочь и внуков...

– Ничё, маманя! – подмигнул Василий тётке Анне. – Собьёмся с деньжатами, покатаем с тобой в гости к родне городской. Какие наши годочки? А? Эпоха!

У меня в горло вкатился ком, застряло что-то неприятное вроде битого, но неочищенного яйца. Тревога смешалась с грустью расставания с близкими людьми. Вот так каждый раз! Дядя Степан ухватил мое внутреннее состояние, оно передалось ему и подожгло скопившиеся в этот момент чувства.

– Не естся ноне! – встал он решительно из-за стола. – Чево время терять...

Поднялись и мы с Василием. Вышли на улицу. Тётка Анна хлопотала среди нас, как наседка возле выскочивших из-под крыла цыплят.

– Себя береги! – перекрестила она мою грудь. – А Бог поможет!

Тётка обняла меня, расцеловала и уткнулась глазами в белый невышивной платочек. Торопливо прижал я к себе Василия, коснулся его шершавых щек. Стал прощаться с дядей Степаном. Глаза старика непривычно завлажнели. Надколотым изнутри голосом он дал наказ:

– Неси себя, африкан, в жизни твёрдо. Не будь у людей на потычках! – и ещё раз обнял меня и прислонился к щеке, шарканув щетинистым подбородком.

Вот и всё. Всё, как и в прошлые разы.

Я сделал несколько десятков шагов по улице. Достиг переулка, уходящего к дороге, что пролегла вдоль крайних огородов. Вспомнил, как когда-то улетал в Африку...

...Последние минуты в Шереметьево. Щемящая тоска оплела душу. Я шёл к самолету по стеклянной галерее, словно упакованный в прозрачную консервную банку. Брёл один в толпе, не прислушиваясь к голосам людей и проникающему в это пространство гулу реактивных лайнеров.

Впереди меня шли двое в обнимку – он и она, говорили по-французски. Не знаю: летели они домой или просто, скитаясь по свету, покидали очередную землю. Но, раскачивая тощими задами с клёпками на фирменных карманах, вышагивали они беспечно-торжественно, радуясь только друг другу. Весь мир был в них самих. Их не интересовало ничто и, как видно, ни о чём они не жалели... Почему же тогда так неужёмно мучился я? И только сейчас ко мне явился ответ...

Как земное притяжение, властвовала надо мной привязанность к земле, которая дала мне жизнь, к людям, которые меня подняли на ноги и дали возможность делать работу по душе.

Светлым мигом остались позади четыре дня, проведённые у дяди Степана и тётки Анны. В несколько секунд перед глазами прошли лица моих близких и дальних родственников, знакомых односельчан, с которыми довелось встретиться в этот приезд. Их судьбы стали неразрывным продолжением нашей общей прожитой жизни.

Но одно обстоятельство по-особому залегло в мою душу. Это драматическая судьба Маруськи, которую я так и не увидел, и трагический ко-

нец Лёньки Деменцова. Мне не пришлось с ними познакомиться. Но моё воображение рисовало черты их лиц, фигуры, жесты. Неожиданно вошли они в мою жизнь, но стали неотделимыми, как ветвь у дерева, выросшая на его стволе. И эта ветвь не последняя, на ней уже зреет крохотная почка, которой суждено стать зелёным листом и будущим новым побегом...

Я не выдержал, оглянулся. Не мог поступить иначе... Все трое моих родных смотрели мне вслед. Василий, чуть закинув голову, оперся на алюминиевую трость. Тётка Анна прижала к груди белый платочек. Дядя Степан одну руку опус-

тил вдоль туловища, другую поднял над головой, зажав кончиками пальцев мой подарок – трубку, вырезанную из чёрного дерева. По поверьям африканских племен, от такого дерева возрастает дух молодости и теряют силу окружающие жизненные яды...

«Сегодня же закурит», – подумал я. И, больше не оборачиваясь, завернул за угол дома, в котором когда-то жила моя одноклассница Сюська со своим чудакватым отцом Елпидифором.

2021 год.

